

Александр
Архангельский

серия
«счастливая жизнь»

РУССКИЙ ИЕРОГЛИФ

История жизни
Инны Ли, рассказанная
ею самой

ШЕ
РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА ШУБИНОЙ

Table of Contents

[Annotation](#)

[Александр Архангельский Русский иероглиф: История жизни Инны Ли, рассказанная ею самой](#)

[О чем эта книга. О ком эта книга. Зачем эта книга](#)

[Пролог](#)

[Глава 1 Мама и папа](#)

[Глава 2 Русакит и китарус](#)

[Глава 3 Государственные яблочки](#)

[Глава 4 Русские хунвейбинки](#)

[Глава 5 Тюрьма и воля](#)

[Глава 6 Домик в деревне](#)

[Глава 7 Конец “культурки”](#)

[Глава 8 Лишь бы не было войны](#)

[Глава 9 В Москву! В Москву!](#)

Annotation

Русская китаянка Инна Ли, дочь сооснователя китайской компартии и дворянки из рода Кишкиных, всю жизнь связана с двумя странами, двумя языками, двумя культурами. Не избежала она и двух Историй, принесших и радость, и трагедии: детство в сталинском СССР, юность в маоистском Пекине, «культурная революция», тюрьма, перевоспитание в деревне, реабилитация, китайские реформы, жизнь в России после перестройки... Читаешь – и с трудом веришь, что это вместилось в одну биографию, одну судьбу. И что жизнь ее, вопреки всему, подлинно счастливая.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Александр Архангельский

Русский иероглиф: История жизни Инны Ли, рассказанная ею самой

Художник Андрей Бондаренко

Фото на передней стороне обложки – Сергей Щедрин; на задней – Светлана Мишина

В книге использованы фотоматериалы из архивов Инны Ли, РИА Новости и ИТАР-ТАСС, а также ресурса “Правмир”

- © Архангельский А.Н.
- © Бондаренко А.Л., художественное оформление
- © Щедрин С., фото
- © Мишина С., фото
- © Правмир, фото
- © ИТАР-ТАСС, фото
- © РИА Новости, фото

О чем эта книга. О ком эта книга. Зачем эта книга

Несколько лет назад я задумал цикл книг – о реальных людях, наших современниках, живущих счастливую жизнь сквозь трагедии XX и XXI веков. Рассказ идет от первого лица, чтобы я не мешал прямому контакту героя с читателем. История на фоне частной жизни, частная жизнь на фоне истории... При этом все герои должны быть связаны с Россией, но не принадлежать ей без остатка; пусть переживание будет внутреннее, а взгляд скорее внешний. Главное, чтобы они были интеллектуалами с невероятной авантюрной судьбой, что сочетается до обидного редко. При этом их взгляды, их идеологии для меня скорее вторичны: герои цикла могут восхищаться революциями и скептически смотреть на них, быть активными участниками студенческих волнений 1968-го и насмешливо рассказывать о молодежном бунте, быть атеистами или верующими; главное – глубина переживания и серьезность отношения к происходящему.

Первой стала книга о социологе, крестьяноведе и социальном работнике Теодоре Шанине “Несогласный Теодор” (смена гражданств, войны, ссылка, бегства через границы, создание университета...). Вторая – о слависте Жорже Нива “Русофил” (в юности дружба с Пастернаком, изгнание из СССР накануне свадьбы, война в Алжире...). И вот третья книга в той же серии “Счастливая жизнь” – “Русский иероглиф. История жизни Инны Ли, рассказанная ею самой”.

Героиня – русская китаянка, дочь сооснователя китайской компартии и дворянки из рода Кишкиных; ее отцу было суждено построить новый Китай и пасть жертвой радикалов, а маме – пройти через все испытания и стать родоначальницей китайской русистики. Инна, которую в Китае зовут Ли Иннань, стала переводчицей. Родилась она в сталинском СССР, жила вольготной жизнью золотой китайской молодежи в маоистском Пекине, была (впрочем, мирной) русской хунвейбинкой... И дальше – по полной программе. Спецтюрьма, перевоспитание в деревне, реабилитация, китайские реформы, жизнь в России после перестройки, в том числе во время путча 1991 года и кровавых потрясений 1993-го... Читаешь – и с трудом веришь, что это вместились в одну биографию, одну судьбу.

Я стремился к тому, чтобы каждая книга серии могла читаться автономно, по отдельности, но при этом все они подсвечивали друг друга, выстраиваясь в общий ряд. Мои герои могут быть людьми резкого социального действия, как Теодор Шанин. Предпочитать утонченное созерцание, как Жорж Нива. Или становиться

“китарусскими” интеллигентами, которые считают грандиозную политическую историю сквозь мелкие детали быта и личные обыденные обстоятельства, как это блестяще делает Инна Ли.

Спасибо за поддержку замысла Алексею Кудрину, Леониду Бурмистрову, Татьяне Тихоновой.

Александр Архангельский

Пролог

Мама моя, Елизавета Павловна Кишкина, происходила из семьи саратовского родовитого помещика и провела детство в имении Студёнка. Мой двоюродный дед Николай Михайлович Кишкин был членом Временного правительства, 25 октября 1917 года получил власть из рук Керенского в Петрограде, но всего лишь на сутки. А папа Ли Лунчжи, более известный под псевдонимом Ли Лисань, был выдающимся китайским коммунистом, до поры до времени соратником Мао Цзэдуна. Две родины, две крови, две культуры, две идеологии – не типичная, но и не редкая судьба в XX веке.

Выйдя замуж, мама прожила в Китае много лет, последние десятилетия безвыездно, а когда на излете перестройки приехала из Пекина в Москву, ее разыскал пожилой земляк по имени Гурий Иванович Макаркин и пригласил съездить в Студёнку, на малую родину.

– Там у меня двоюродная сестра живет, примут хорошо, покажут. Поехали!

В конце концов путешествие в Студёнку состоялось. В мае 1993-го мы небольшой компанией сели в поезд на Павелецком вокзале и вылезли на маленькой станции, в Балашове. Оказались словно на другой планете. Никакой политики, никаких московских бурь – вечная русская тишина. На автобусе по степным колдобинам добрались до ближайшей от Студёнки станции. Нас встречали селянка Лариса на подводе и какой-то мужик на раздолбанном мотоцикле с коляской.

– Выбирайте, на чем поедете?

Мы с мамой выбрали подводу.

Лариса, тетка разговорчивая и душевная, нахлестывала лошадь и покрикивала:

– Анютка, давай! Ты знаешь, кого ты везешь? Ты барских детей везешь!

Я решила, что она издевается. Мама всю жизнь стеснялась своего помещичьего происхождения (тем более оно приносило одни только

неприятности) и нас приучила: барин, барыня, барские дети – это что-то зазорное. Но Лариса и не думала шутить.

Дальше – больше. Двоюродная сестра Гурия Ивановича, старушка в бязевом платочке, подошла к маме, обняла и в плечо поцеловала: считалось, что бар положено целовать именно в плечико. А в соседнем селе Чернавка к телеге засеменила другая старушка и припала к маминой ручке: до революции она была горничной у соседнего помещика. И когда нас по деревне водили, все тоже говорили: барышня приехала... Я внимательно смотрела по сторонам и все яснее понимала, почему они решили вдруг полюбить ушедшую, навсегда закончившуюся – и совершенно незнакомую им – жизнь. В глаза бросалось запустение, заброшенность, угасание. Мама вспоминала, что до революции в Студёнке было несколько сот крепких дворов, в пруду плавали утки и гуси, по вечерам молодежь водила хороводы. А спустя шесть десятилетий – полураспад. Когда мы в 2015-м с мужем и родственниками приехали снова, осталось и того меньше: четыре или пять домов. Все зарастало бурьяном...

Дети и внуки тех, кто жил здесь до 1917 года, цеплялись за семейные воспоминания и все время повторяли, какой хороший был барин Павел Семенович и как славно он к крестьянам относился. Это отношение, видимо, распространялось и на крестьянских дочерей и жен. Согласно семейному преданию, деду делали дома настойку на шпанских мушках, которая повышала потенцию. В тот приезд в Студёнку сельчане привели познакомиться с мамой курчавого большеногого старика, представили как сына кузнеца, который в детстве играл на барском дворе. А моим родственницам шепнули, что это сын Павла Семеновича и прозвище его Барчук.

Дом, в котором мама родилась, сгорел в 1920-е. Скорей всего, сожгли его крестьяне. Заодно сгубили созданное и отлаженное дедом отличное хозяйство. В Студёнке был огромный сад, который мамин отец умело взращивал, новые сорта завозил, холил и лелеял. Но сад стал колхозным и в конце концов тоже пришел в упадок.

На прощание жители предложили нам: “Возвращайтесь, берите всё в свои руки. А мы за вами пойдем”.

Тоска по барину, доброму помещику, звучала в этих словах.

Глава 1

Мама и папа

Жители Студёнки мечтали вернуться в дореволюционную идиллию. Но чтобы дворянка Кишкина и коммунистический вождь Ли Лисань могли встретиться и пожениться, как раз и нужен был XX век, который смёл (и заново установил) границы, перемешал народы, разрушил сословные перегородки.

Мама никогда не вздыхала по прошлому, не тосковала по “России, которую мы потеряли”. Она родилась в 1914 году, прежних порядков не помнила; дед покончил с собой в начале 1919 года, когда его повезли в ЧК в село Турки, а бабушке дворянское происхождение приносило только неприятности. Перебравшись в Москву, она с моей будущей мамой поселилась в 1-м Басманном переулке; там позже родилась и я. Бабушку как жену помещика уволили со швейной фабрики и никуда не хотели принимать на службу. Пришлось зарабатывать мытьем полов, поденной работой. Мама в четырнадцать лет пошла на биржу труда, потом окончила так называемое книжно-газетное ученичество и попросилась на Дальний Восток, в Хабаровское краевое издательство. Сначала работала в самом Хабаровске, а потом перевелась во владивостокское отделение, где работали китайцы – интеллигентные, очень деликатные, ей они понравились.

Что касается отца, то он из провинции Хунань, из обеспеченной семьи. Прадед считался местным банкиром (скорей всего, он был просто ростовщиком). Купил большой дом, окруженный рисовыми полями, так что отец писал в анкете: “Из семьи помещика”. Когда маму спустя годы посадят в китайскую тюрьму, ей скажут: “Вы одного поля ягоды: дочка помещика и сын помещика”. С малых лет папа конфликтовал со своим отцом, в том числе из-за Конфуция, которого мы чтим как мудреца, забывая, что в основе его идей – полное послушание. Моя китайская бабушка при дедушке даже улыбаться не смела, тем более на равных разговаривать. Мама однажды сказала: “Я не могу простить Конфуцию того, что он женщин не терпел, места им не давал нормального”.

После ряда приключений, бегства в армию, возвращения и ранней женитьбы, к которой его приневолили, отец, оставив нелюбимую жену, отправился во Францию подобно нескольким тысячам молодых интеллектуалов, которые спустя десятилетия сформируют великий Китай. Чжоу Эньлай был в их числе. Дэн Сяопин. Ученые, инженеры...

Заманивали их возможностью учебы, а в итоге раскидали по заводам, что не могло не вызвать политической обиды. Так что отец уезжал анархистом, последователем Бакунина, Кропоткина – их книги постоянно переводили на китайский. А вернулся убежденным коммунистом. В формовочном цехе он познакомился с французским мастером, достаточно левым, тот рассказывал рабочим об Октябрьской революции, устраивал забастовки. И однажды предложил отцу: “Попробуй организовать китайских рабочих”. Ничего из этой затеи не вышло: китайцы приехали вкалывать и зарабатывать, а не бастовать.

Тем не менее отец с товарищем нашли среди китайцев активистов и организовали одну из первых марксистских групп.

Кончилось тем, что его депортировали из Франции: сто с лишним человек провели акцию протеста в Лионе, захватив здание будущего франко-китайского университета, – места, обещанные им, отдали выходцам из обеспеченных семей. Допросили, посадили в товарняк – и в Марсель. Оттуда на пароход – и в Китай под присмотром французских жандармов.

Сразу после возвращения на родину – было это в начале 1920-х – отец нашел в Шанхае тогдашнего генсека Чэнь Дусю, был с ходу принят в компартию и попросился в родную провинцию Хунань, где райкомом руководил некто Мао Цзэдун.

Мао принял отца хорошо – тогда в нем еще не проступили черты беспрекословного вождя. Отец организовал шахтерский профсоюз, один из первых в Китае, провел забастовку, выдвинув классический набор европейских требований: восьмичасовой рабочий день, повышение зарплат, права рабочих. И лозунг: “Нас считали быдлом, а мы хотим быть людьми”. Условия там были ужасные, много хуже, чем в дореволюционной России. Азиатский способ производства, что с него взять. Шахтеры спускались в шахты в одной набедренной повязке. Через десять – двенадцать часов выбирались наружу, обтирались этой тряпкой, опять ее накручивали и в таком виде шли домой.

В 1928 году отец вошел в руководящую тройку партии наряду с Чжоу Эньлаем и неграмотным пожилым рабочим из Уханя по имени Сян Чжунфа (на его кандидатуре настоял Бухарин, но идея, видимо, принадлежала Сталину). На какое-то время Чжоу Эньлай отбыл в Москву, и отец фактически встал у руля партийной власти. В Центральном государственном архиве Китая я нашла письмо Сталину от начала августа 1930 года. Подписано Сяном, но это рука моего отца, я прекрасно знаю его почерк. А письмо было примерно такое. Уже все созрело для победы революции, надо поднимать вооруженное восстание в городах, как когда-то в Петрограде. Чтобы потом Советский Союз поддержал китайских коммунистов с помощью Красной армии.

Еще до этого письма отец собрал экстренное совещание актива ЦК и призвал разжечь всекитайскую революцию, которая, конечно же, перерастет в мировую. Начались выступления в городах, которые, разумеется, захлебнулись, потому что никакая Красная армия не появилась; были раненые, были погибшие. Это он потом болезненно переживал всю жизнь: из-за него были убиты товарищи, многих он знал поименно. Но его искренность никого не волновала. Отца просто обвинили в склонности к троцкизму и вызвали в Москву каяться перед Коминтерном. Поскольку он как бы втягивал Советский Союз в большую войну.

В конце 1930-го Ли Лисань прибыл в Москву и застрял здесь на пятнадцать лет. По тогдашнему обычаю ему дали русское имя – Александр Лапин, только он им практически никогда не пользовался. Зато сам выбрал для себя китайский псевдоним Ли Мин; мама потом всю жизнь звала его просто Мин. И когда я родилась, сотрудники московского загса в метрике мне написали: “Инна Миновна”.

2

Я читала в архиве Коминтерна стенограмму совещания Исполкома, где прорабатывают Ли Лисаня. Он кается, посыпает голову пеплом, но как только пытается что-то уточнить, оправдаться, на него набрасываются с новой силой...

Несколько лет он занимался разбором своих ошибок – и больше ничем. Года через два – три ему дали возможность работать – в закрытых китайских школах партактива. Тогда-то он и познакомился с моей мамой, вернувшейся с Дальнего Востока. А в 1935 году, когда его определили на постоянную работу в издательство “Товарищество иностранных рабочих в СССР”, стал усиленно за ней ухаживать. Начал с предложения пойти в кино, продолжил Большим театром, провожая домой, рассказывал, как убегал от полиции по крышам Шанхая... А маме тогда было всего девятнадцать лет, и она колебалась. Тем более что знала, как это бывает в Коминтерне. Возьмут – и отправят Мина в Китай. А она останется здесь, соломенной вдовой. В конце концов отец в воспитательных целях повел ее к друзьям, жившим в Лаврушинском переулке, известному поэту Эми Сяо и его жене, немецкой еврейке Еве Сандберг-Сяо. Чтобы Лиза своими глазами увидела, как хорошо живут интернациональные семьи.

Уломал. В феврале 1936 года они поженились. Отец изъяснялся по-русски все лучше и лучше, а вскоре его посадили, и после тюрьмы он заговорил совсем свободно: полтора года читал русскую классику – Тургенева, Чехова. (За что посадили, можно даже и не уточнять. Троцкист и японский шпион, создатель антипартийной группы, обвиняемой в “лилисановщине”.) От него требовали показаний почти на всех членов китайского Политбюро начиная с Чжоу Эньлая – я получила дело отца в архиве КГБ и видела этот список, не отцовской рукой написанный. Кстати, именно тогда был ликвидирован весь ЦК польской компартии. Целиком. По обвинению в троцкизме.

Но отец упорно отказывался признать вину. И ему, можно сказать, повезло. Во-первых, его взяли довольно поздно, и он в тюрьме дотянул до падения Ежова. Был небольшой период как бы смягчения террора, образовалась щель, в которую можно было прошмыгнуть, что отцу и удалось сделать. Во-вторых, в начале осени 1939-го в СССР снова приехал Чжоу Эньлай и начал выяснять, где Ли Лисань и что с ним. В

итоге папу судили не “тройкой”, а военным судом; отец сам выступил в роли собственного адвоката и добился того, что дело вернули на исследование. Редкий случай. Он получил возможность заново дать показания и зарегистрировать жалобы на то, что его били, сажали в карцер, выдавливали признания. Перед ноябрьскими праздниками 1939 года он вернулся к маме, которую, конечно, уже выселили из общежития Коминтерна, гостиницы “Люкс” (позже гостиница “Центральная”). Там, в коммунальной квартире в 1-м Басманном переулке, у моей бабушки, он и остался жить до самого своего отъезда в Китай.

3

Помню себя начиная с трехлетнего возраста. Отец уже в Китае – его отправили руководить Северо-Восточным бюро КПК. Мы с мамой живем на подмосковной даче, 43-й километр. День моего рождения. Я открываю глаза. Все кажется очень большим. Солнечный свет падает на деревянную террасу. Рядом с кроватью подарочки, разнообразные игрушки. И висит платице. Это мой отец прислал с оказией из Харбина...

Родилась я темненькой и раскосой; когда мама возила меня в коляске по дорожкам сада Баумана, другие мамы и бабушки спрашивали: “Ой, откуда такая китаяночка?” Разумеется, в советском детстве я не задумывалась, кто я – китаянка, русская. Я просто знала, что мой папа из Китая, сейчас он работает в Харбине и мы когда-нибудь к нему поедem.

Яркая вспышка – день победы над Японией. Из Харбина прибыл папин знакомый, будущий китайский маршал; их с женой поселили в гостинице “Москва”. Балкон с видом на Кремль, все как полагается. И мама взяла меня с собой. Помню эту глубокую сентябрьскую ночь: мы стоим на балконе и как бы парим на огромной высоте над Красной площадью. А внизу все заполнено народом, голова к голове. Музыка. Салют. И прожектора шарят лучами в небе, а в их перекрестье – огромный парадный портрет товарища Сталина.

Наконец-то нам позволили отправиться к отцу – на перекладных. Наверное, это напоминало путешествие Чука и Гека из рассказа Гайдара. Сначала до Читы. Оттуда на другом поезде до крошечной станции Отпор на самой границе. Дальше на каком-то местном паровозике. И, наконец, по территории Китая на поезде КВЖД, Китайско-Восточной железной дороги. Кавэжэдинский – так его называли.

Тащились почти две недели. Говорят, меня восхищала “прекрасная природа”. Не помню. Но хорошо запомнила, как взрослые искали погранцов на станции Отпор. У мамы же не было никакого

загранпаспорта, а только записка на имя начальника погранслужбы Антонова. Причину такой таинственности ей объяснили незатейливо: “У китайцев началась гражданская война, будет нехорошо, если вы попадете к гоминьдановцам с советским паспортом”. На самом деле они боялись не за наши жизни: если кто нам и грозил, то не гоминьдановцы, а хунхузы, члены организованных банд. Просто опасались, что гоминьдановцы получат доказательства, что СССР поддерживает китайских коммунистов, и поэтому дали инструкцию: “Если попадете в их руки, говорите, что вы местная, из белых”.

В итоге нас выгрузили на станции: меня, маму и двух ее милых попутчиц-китайок (одна потом погибнет – ее обвинят в пособничестве “шпионам”, то есть моим родителям). Взрослые посадили меня на наши вещи и сказали: “Инночка, тут сиди. Никуда не уходи, мы скоро вернемся”. И ушли искать пограничников. Я сижу на ровном-ровном перроне с деревянными настилами и чувствую себя забытой в огромной пустыне. Ощущение одиночества, страха, заброшенности. Когда взрослые вернулись, я уже готова была заплакать. Но сдержалась.

4

Отец нас в Харбине не встретил, только прислал на вокзал свою машину. Ждал нас на крыльце дома. Я всю дорогу думала – когда же я наконец его увижу, он же для меня самый главный был, папа. Его рядом в последние месяцы не было, но были его подарки, приходили от него письма. И я, конечно, его тут же узнала. Он был одет в военную форму того времени, но без нашивок и без погон, с двумя рядами пуговиц. Зеленовато-желтоватая ткань типа хаки. А поверх наброшена шинель. И он стоял на крыльце, такой большой, родной. У меня было главное чувство – вот он, папа!

Мы начали обживать. У отца, который был одним из реальных хозяев в городе (“большой” ЦК во главе с Мао находился очень далеко), теперь была свита: секретарь, повар, горничная, целое отделение охранников, молодые ребята, которые обожали со мной играть. Китайцы же любят детей. Один, совсем юный (он сейчас еще жив), потом любил рассказывать, как меня катал по Харбину, привязывая санки к велосипеду. И хотя дома говорили по-русски, я общалась с китайской обслугой и совершенно незаметно, годам к пяти – шести, довольно свободно говорила по-китайски.

Дом, который выделили отцу, находился в поселке железнодорожников, где жил технический персонал КВЖД; по меркам номенклатуры он был достаточно скромный – четырехкомнатный, коттеджного типа, кирпичный, но со стеклянной верандой, наподобие дачной. Отапливались такие домики голландскими печами. После коммунальной квартиры в Москве нам все казалось просторным,

роскошным. С едой тоже проблем, разумеется, не было: не только члены семьи, но и обслуга, и солдаты – все питались досыта, в отличие от рядовых китайцев. Мама в своих воспоминаниях пишет, что видела в провинции разоренные деревни, нечесаных, грязных, оборванных людей. Совершенно другая жизнь. Основная часть населения жила ужасно. И я запомнила плакат с огромной крысой, напоминавший о чуме 1946–1947 годов: берегитесь крыс, они разносчики заразы.

Отец постарался создать для нас подобие русского быта. Помимо китайского повара, он пригласил русскую домработницу, из эмигрантов, чтобы та общалась с мамой и готовила привычную еду. В конце концов сложилась традиция: завтрак подавали европейский, обед (если все дома) русский, ужин китайский. Позже, когда мама собралась рожать мою сестру Аллу, у нас появилась и няня, Мария Ионовна Полякова, чью кандидатуру утвердило советское консульство. Оно не знало, что Мария Ионовна была не только дочерью старого железнодорожника, но и вдовой семеновского офицера; к счастью для нее (и для нас), второй ее муж оказался извозчиком, так что у нее был хороший “бэкграунд”, пролетарский.

Мама берегла свой маленький русский мирок. И даже решила отдать меня в русский детский сад, который называли чуринским: имя, известное на Дальнем Востоке всем, особенно в Харбине. Купцы Чурины начали свое торговое дело в Благовещенске, там сохранился построенный ими дом – головная контора. А потом развернулись в Китае, построили в Харбине огромный магазин “Чурин” в стиле русского модерна, он и сейчас так называется. Тем более что имя “Чурин” по-китайски очень красиво звучит, иероглиф называется “Осенний лес”. Чу-лин. Чурин.

Так вот, у них был свой детский сад. Русский. Я там занималась в хореографическом кружке. Зная, что я наполовину китаянка, воспитательница поручила к Новому году приготовить какую-нибудь китайскую песенку. Папины охранники научили меня очень популярной революционной песне “Без коммунистов нет нового Китая”. А в детском саду выдали костюмчик, можно сказать, старорежимный, маньчжурский. Черный, на застежке, отороченный кантом. И штанишки клеш, до колена, тоже окаймленные кантом. Дали веер и научили меня ходить “по-китайски”. И я пела революционную песню в “контрреволюционном” костюме. Подозреваю, что было очень смешно.

Кстати, интеллигентные китайцы одевались тогда по-европейски. А китайцы простые ходили в задрипанной одежде. Зимой – халаты на вате. На голове шапки с длинными ушами, что-то вроде малахаев, но подбитые ватой, а не мехом. И у китайских солдатиков тех времен форма тоже была ватная, не шерстяная. И ватные шапки, делающие людей очень неуклюжими.

Глава 2

Русакит и китарус

1

В 1949-м отец получил новое назначение – в тогдашнем духе, без особых затей. В деревушке Сибайпо, километрах в 200 от Пекина, проводили важный пленум ЦК с участием советской делегации во главе с Микояном. И после завершения пленума Мао просто подозвал отца и сообщил:

– Ли Лисань, ты в Харбин не вернешься, поедешь с нами в Пекин.

Отец, конечно, подчинился. Обустроился в Пекине и прислал в Харбин своего секретаря помогать нам в сборах. Ехали мы на спецпоезде для членов семей ответственных работников. С частью охраны, помощников. Прибыли ночью; вокзал тогда располагался в центре города, недалеко от главной площади Тяньаньмэнь. И почему-то я запомнила, как мы въезжаем в старый посольский квартал. Свет фар выхватывает деревья, еще полуголые, на которых только-только листочки распускаются...

Харбин был город сравнительно тихий, а Пекин наполнен криками, звонами. Поселили нас в старом городе: особнячки с прилегающим садиком, глухие стены, между ними узкие переулочки, которые на пекинском диалекте называются хутуны. И вот из этих переулочков всегда что-то доносилось. Идет старьевщик, стучит колотушкой, кричит. Идет точильщик, звенит металлическими связками, как кастаньетами, и поет...

Вскоре вслед за нами из Советского Союза в Пекин перебралась Прасковья Михайловна, моя бабушка русская, любимая. Это было очень важно, особенно для меня и моей сестры Аллы, потому что среда обитания резко изменилась: в Харбине и русские газеты выходили, и многочисленные клубы работали, и оперетта, которую мама очень любила, давала спектакли по-русски. А в Пекине русская диаспора была совсем маленькая, около тысячи человек, в основном бывших эмигрантов, которые не смогли найти себе пристанище за пределами Китая и в итоге приняли советские паспорта. (Советским специалистам тогда еще не позволяли брать с собой жен и детей.)

Бабушка привезла с собой некоторые старые фотографии на плотной бумаге, хорошего качества. Я спросила маму: “Почему на этих фотографиях все так хорошо одеты?” Мама как-то ушла от ответа, а

бабушка все откровенно объяснила. Так я впервые узнала, что дедушка мой был помещиком, а мы – выходцами из дворян.

Единственный на весь Пекин русский клуб располагался неподалеку от советского консульства: несуразное длинное здание, видимо, когдатошняя казачья казарма, и при нем русская школа. Один в один сельская: огромная общая комната, два ряда – 1-й класс, два ряда – 2-й класс. Учились в ней дети, выросшие в Китае, и несколько монголов из посольства, которые ходили в русский детский сад в Улан-Баторе и поэтому говорили по-русски. Позже появился мальчик-румын из румынского представительства. В классе постарше была девочка-болгарка. А еще у нас имелся маленький индус, его отец работал охранником в посольстве Индии. Отец был в чалме, с бородой...

И клуб, и школа примыкали к главной площади Тяньаньмэнь, тогда еще совсем заброшенной. Однажды мы выбежали на соседний пустырь во время большой перемены, и вдруг из-за кустов выходит китайский солдатик. Строго спрашивает: кто такие, куда идете? А русские дети хоть и выросли в Китае, вообще не говорили по-китайски. Испугались, стали пятиться, а меня вытолкнули вперед. Ну, я к солдатикам привыкла, потому что в доме охрана была. Стала объяснять по-китайски, что мы тут в русской школе учимся. Он заулыбался: “Ничего, детки, всё хорошо. Но вы сюда не заходите. Возвращайтесь на урок”.

Москву я практически полностью забыла, вся моя жизнь была связана теперь с Китаем. Только лет в восемь – девять у нас образовалась компания детей от смешанных браков. И мы стали задумываться: а кто же мы такие? Попробовали называть себя *русакиты*, но выражение не прижилось, а позже придумали более подходящее слово – *китарусы*. И все встало на свои места. Вообще, китайская культура очень закрытая, чужаков здесь не любят. Даже в Харбине русских детей смешанной крови в нижних слоях общества пренебрежительно называли *хуньсюэр* (полукровки) или *эрмаоцзы*. “Чистопородных” русских именовали *маоцзы*, что значит “волосатик”. А *эрмаоцзы*... Даже не знаю, как перевести. Что-то вроде *потомки волосатиков*. Однако в партийной среде, воспитанной на связях с Советским Союзом и Коминтерном, смешанные семьи одобрялись. Как минимум в 1950-е. Многие русско-китайские семьи были знакомы еще с Москвы, с советских времен. Вместе проводили и праздники, и воскресенья, ездили огромными компаниями в парки.

2

С детьми старых эмигрантов я проучилась три с половиной года. А потом Хрущев разрешил советским специалистам брать с собой жен и детей, и при посольстве была создана новая школа. Мама, несмотря на свое помещичье происхождение, была очень советской – не только по

гражданству, но и по взглядам и симпатиям. И тут же договорилась, что меня переведут в “правильное” заведение. Однако она не могла предположить, что в результате хрущевских реформ образования в посольской школе останется девятилетка. И мне в 1959-м придется на год уехать в Москву, чтобы там окончить 10-й класс и получить советский аттестат зрелости.

Отец согласился; я в сопровождении мамы отправилась в консульство за документами на въезд, и тут возникла двусмысленная ситуация. В Китае вплоть до 1980-х годов не было паспортов как таковых, и в консульстве мне предложили: “Вам исполнилось шестнадцать лет, давайте оформим советский паспорт”. Тут у меня начались сомнения, потому что в анкете была графа “Национальность”. А я же китаруска! Но ведь так не напишешь?

Я смотрю на маму, спрашиваю: “Мам, ну, что написать?”

Она говорит: “Раз берешь советский паспорт, пиши «русская»”.

Ну, я привыкла слушаться маму, написала “русская”, получила советские документы, но внутреннее чувство подсказывало – это не совсем то, что я есть.

В Москве – внешне – все складывалось хорошо, я даже восстановила прописку в 1-м Басманном, у вдовы маминого брата, тети Маруси. Сдала личное дело в ЦК ВЛКСМ (в советский комсомол я вступила еще в Пекине). Маме, наверное, казалось, что вот-вот исполнится ее мечта, я поступлю в МГУ. Отец как минимум не возражал, тем более что одна из моих старших сестер от его третьего китайского брака (до отъезда в Россию и знакомства с мамой он успел несколько раз жениться и развестись) тоже училась в Москве, окончила Институт стали и сплавов. Но что-то меня останавливало. Нет, конечно, я пребывала в святом неведении и не догадывалась, что уже начались политические трения между Мао и советским руководством. Просто чувствовала себя некомфортно в послесталинском, но внутренне еще не раскрепостившемся СССР, в советской коммунальной квартире. В своем китайском – коммунистическом, партийном! – доме я привыкла общаться с мамой и отцом, обсуждать любые те-мы – и литературные, и политические, и научные. А с прекрасной тетей Марусей, у которой было четыре класса образования, общих точек соприкосновения не нашлось. Она была верующая, причем жестковатая, а я избалованная, из светской семьи.

И в школе происходили какие-то странные вещи. Одна моя подружка, Лена Флейшгакер, вдруг перед поступлением благополучно стала Зотовой. Другую подружку звали Лида Зильбер, а перед подачей документов в университет она стала Голубенко. Я не могла понять, что происходит. Потому что в Китае нет проблемы еврейства, а значит, нет проблемы антисемитизма, тем более государственного. Даже наоборот, всегда было какое-то особое уважение к евреям: они умные, умеют делать деньги...

В общем, как-то меня потянуло домой.

И тут до меня окончательно дошло, что я не просто выбираю, где учиться, а решаю, кем мне в этой жизни быть – китаруской, собственно русской или только китаянкой. И если я возвращаюсь в Китай, то должна стать китаянкой. Я решила написать отцу по-китайски. Разговорный-то я знала неплохо, иероглифы распознавала, но сама изобразить не могла. Чтобы полностью овладеть иероглификой, нужно было сидеть и корпеть. А в Москве китайских книжек нету, только один большой русско-китайский словарь. Тогда я стала писать так: составляла фразу в уме по-китайски, потом переводила на русский, искала слова в словаре, копировала иероглифы. Коротенькое письмо, меньше чем на страницу, писала два часа. Адский труд, но все-таки я справилась.

Отец был очень рад – и письму, и решению вернуться в Пекин. Я тогда не знала, что как раз в 1959-м прошло закрытое совещание ЦК в горах Лушань, на котором разгромили так называемую антипартийную группу маршала Пэн Дэхуая, тогдашнего министра обороны. Заодно ему припаяли “тайные сношения с границей”. Якобы во время посещения Советского Союза он что-то лишнее рассказал Хрущеву. А в руководстве КПК был такой вредный человек по имени Кан Шэн, который знал отца еще по Москве. Серый кардинал, идеолог. Его называли потом в советской прессе “китайский Берия”, но он не Берия, он другой. Демон интриги, получавший, мне кажется, наслаждение не от власти как таковой, а просто от того, что может унижить, прижать. И он начал распространять слухи, что у Ли Лисаня тоже есть тайные сношения с границей – через жену, то есть мою маму. Неслучайно Ли Лисань свою дочку заранее отправил в Советский Союз! Поэтому, получив мое письмо, отец отправился с ним в орготдел ЦК, к одной “старой большевичке”, которая прошла через пытки, тюрьмы, не имела семьи и олицетворяла совесть партии. Но при всем том она была действительно очень честная. И отца поддержала. Это, конечно, не спасло его от последующих испытаний, но на какое-то время от него отстали.

А мама была очень огорчена моим решением, потому что оно разрушало ее мечту: Инночка окончит Московский университет, выйдет замуж, обустроится, можно будет в случае чего найти у нее приют... Не то чтобы мама рвалась из Китая, но отец был старше ее на четырнадцать лет, и она не могла не думать, что будет, если она переживет папу и останется одна. Как бы то ни было, от советского паспорта она откажется одной из последних. Папу вызывали на самый верх и прямым текстом подталкивали к разводу: ваша жена – советская гражданка, то есть пятая колонна, она вас до добра не доведет. Отец уверял, что за нее ручается, что она не сделает ничего плохого для китайского народа, “для нашей партии”. Но в 1962-м мама решила: “Продлю еще на два года, а дальше всё: приму китайское

гражданство". И приняла, о чем никогда не жалела, даже в тюрьме: "Если я делаю шаг, то уже не оглядываюсь".

Меня она, однако, в 1960-м отговаривала: "Если ты сейчас откажешься от паспорта, то уже не восстановишь советское гражданство. И тебе будет очень сложно. Китайская жизнь совсем другая. И не жалуйся, если что. Я тебя предупреждала". Я ответила: "Не буду жаловаться". Ну, и сдала паспорт, следуя маминому же правилу: сказав "а", говори и "б".

3

В Пекине я опять испытала неприятное чувство – словно уезжала из одной страны, а вернулась в другую. Раньше в китайской столице были целые гостиничные городки, населенные советскими людьми, со своими клубами, кинопоказами. Маленький советский мир, частью которого я тоже себя ощущала. А тут я выхожу на улицу – никаких советских лиц. Пустые гостиницы, пустые клубы. Большая торговая улица вообще без покупателей, многие магазины, швейные салоны, парикмахерские ориентировались на русских, на советских, потому что у них были деньги, чего о нищем местном населении не скажешь.

Всюду осиротелость.

И у нас дома тоже как будто воздух выкачали. Дом наш всегда был гостеприимным, открытым, многолюдным, особенно по воскресеньям. Все время кто-то приходил – и к отцу по делам, и по-дружески. Вдруг стало как-то очень тихо: как я позже поняла, тучи уже сгустились. Пошли шепотки: с этими лучше не общаться, к ним лучше не ходить. Дом стал, как сейчас говорят, токсичный.

Родители не говорили со мной об этом, но я замечала, что оба какие-то напряженные, запираются в спальне, ведут там долгие беседы, мама иной раз выходит заплаканная, хотя она никогда не была слезливой.

Нет, не об этом я мечтала, уезжая из Москвы. Я мечтала, что опять попаду в прекрасную атмосферу своего детства, которую не могло разрушить ничто, даже некоторые странности окружающей жизни вроде "большого скачка". Я эти странности старалась не оценивать, на них не заикливаться, хотя маоцзэдуновский Китай жил от кампании к кампании. Все вдруг подхватывались и включались в "общее дело". Например, когда началась корейская война и считалось, что американцы используют бактериологическое оружие, в ответ была запущена патриотическая санитарная кампания. Все стали разгребать мусорные свалки, чистить общественные туалеты. А в 1958-м прошла кампания за уничтожение "четырех зол". Крысы, мухи, комары и воробьи. За мухами гонялись с мухобойками, собирали в коробочки и сдавали по счету. И награды получали. С тех пор в Китае паническое

отношение к мухам. А несчастные воробьи были обвинены в том, что уничтожают зерно, которого не хватает людям. И чтобы китайцам было что есть, надо уничтожить воробьев. Конечно, наша советская школа не участвовала в этом. Но я помню, как все началось. Весь город с утра поднялся и вышел на улицы в составе организованных отрядов избивать воробьев. Кто-то их шугал снизу: палками, огромными шестами сгоняли с деревьев и крыш – Пекин был в основном одноэтажный. Воробьи мельтешили в воздухе, а как только пытались присесть, все начинали стучать в ведра, кастрюли, сковородки, вращали трещотки. В конце концов воробьи падали обессиленными и умирали. Садистская идея. Потом воробьев реабилитировали, но было поздно.

Кстати, в нынешнем Пекине практически нет ни мух, ни комаров.

4

Странное то было время. С одной стороны, советских людей вытесняли из Китая, связи слабели. С другой – мы по-прежнему выписывали целый ворох советских газет. “Правда”, “Известия”, “Комсомолка”. Еженедельники. Плюс все литературные журналы, включая “Юность”. У нас в просторной прихожей стояло огромное зеркало, типа венецианского. И перед ним столик, на котором изо дня в день нарастала кipa прессы. Самое интересное, что последняя подписка была оформлена на 1967-й (такая возможность сохранялась только для нас, привилегированных; “обычные” образованные китайцы давно ничего выписывать из СССР не могли). И потом, когда я выйду из тюрьмы, обнаружу, что газеты продолжали приносить в наше вынужденное отсутствие...

Но не буду забегать вперед. Продолжу о странностях начала 1960-х.

Вернувшись из Советского Союза, я записалась на подготовительные курсы при Пекинском университете и попала в замкнутый мир, живший по особым правилам; в этом мире преобладали иностранцы – индонезийцы, монголы, албанцы... Специально для них устраивали танцевальные вечера, которые я посещала с удовольствием. Вокруг – бедная китайская жизнь, подчиненная идеологии, а мы танцуем под современную музыку... Позже ко мне присоединилась младшая сестра Алла, которой было тогда всего четырнадцать или пятнадцать лет. У нас появилась общая подружка, Аллина одноклассница, получешка, полуангличанка. Мы втроем были не разлей вода и наивно думали, что весь Китай живет такой же вольной жизнью.

Но на следующий год все переменялось. Мне, уже получившей советский аттестат зрелости, пришлось снова поступить, на сей раз в китайскую школу, чтобы сдать ЕГЭ. (В Китае единый госэкзамен был с

незапамятных времен, и без него не принимали в университеты.) Женская школа располагалась в старых зданиях маньчжурского дворца, и ее торжественная архитектура контрастировала с “антибуржуазными” установками. Я очень боялась, что одноклассницы узнают про мою домашнюю жизнь, слишком европеизированную, – и осудят. Так начало формироваться мое двоимирие. В общественном пространстве я пыталась быть такой, какую готово принять окружение, а в семье жила, как мне нравится, как я привыкла.

А еще меня повторно приняли в комсомол: советский опыт больше не засчитывался. На собрании нужно было главным образом искать и находить в себе что-то нехорошее. И произносить монолог на этические темы. Я послушала других, настроилась на взятую ими покаянную ноту и отлично справилась с задачей. Не подозревая, что мастерство самобичевания вскоре будет востребовано постоянно и повсеместно.

Но особенно остро я пережила свою раздвоенность, когда поступила в Бэйвай (так сокращенно называли Пекинский институт иностранных языков; теперь он получил статус университета). Мы пошли оформляться вместе с Аллой: я на первый курс, она на подготовительное отделение. Оделись, как привыкли, по-европейски, в юбочки, блузочки. У Аллы был хвост роскошный, ниже пояса, единственный такой на весь Пекин, наверное. Заходим на территорию кампуса – и заливаемся краской. Вокруг сплошные выходцы из бедноты. Латка на латке. Особенно мальчишки. Причем не только шорты залатанные: я впервые увидела заплаты на трикотажных теннисках и майках.

Нас распределили в общежитие, шесть человек в двенадцатиметровой комнате. Три двухъярусные кровати. Деревянные, без всяких пружинных матрасов. Матрасы, тоненькие, ватные, мы привозили с собой, одеяла тоже. Стол один на всех. И табуреточки, которых не хватало, так что я предпочитала сидеть на кровати.

Но самое главное – распорядок дня как в казарме. В шесть утра звонок – дзынь. Вскакиваешь. Немедленно вся группа выбегает на улицу, строится, и в любое время года, в любую погоду начинается утренняя зарядка. В столовую сначала ходили поодиночке, потом стали водить строем. Еда тоже сама простая. В Китае был голод после коммун, карточная система. Нам выдавали книжечки – мама это называла “заборные книжки”, я думала, что оно от слова “забор”, никак не могла понять, что от слова “забирать”. В них отмечалось, сколько ты съел риса за день и пампушек. Мясо два раза в неделю. Причем какое мясо... Спустя годы, уже после тюрьмы, мама начала рассказывать: “Инь, ты знаешь, мне же давали картошку нечищеную. А если иногда доставалось мясо, то, бывало, вместе с кожей, и прямо щетина торчала”. Говорю: “Мама, я же в институте все время так ела. И мясо такое, и картошку в кожуре”. Так что мне в тюрьме было привычнее,

чем ей, проще приспособиться. (Но опять я забегаю вперед, не могу удержаться.)

Студентам был назначен паек – до 15 кило круп или муки в месяц, полкило в день. Мне-то хватало. Но я ведь дома рис почти не ела; поэтому девчонки мои удивлялись, когда я ограничивалась половинкой пиалы: “Ты чего, наедаешься?” – “Наедаюсь, мне больше не надо”. Зато, когда я приходила домой по субботам, мне хотелось мяса. Повар у нас очень добрый был, хороший старик, начинал четырнадцатилетним поваренком в Шанхае, в русском ресторане, прекрасно готовил. Позднее он работал у Буша-старшего, когда тот открыл американское представительство в Пекине. Однажды приезжаю на побывку, а мама говорит: “Наш повар хочет тебя побаловать, он сегодня рябчика приготовил”. Говорю: “Мам, я не хочу рябчика. Ну там же одни кости. Я свинку хочу”.

До поры до времени проблемы рядовых китайцев обходили наш дом стороной. Наша семья не прошла через самый страшный голод 1959–1960 годов. Единственное, стали получать нормированный сахар, которого, как маме казалось, теперь не хватало; она его очень любила. Но еще сохранялись специальные магазины для иностранцев, где можно было купить и сливочное масло, и французские булки. А был, конечно, и спецраспределитель для руководителей.

И тут возникла еще одна проблема, которая может показаться смешной, но деталь важная. Посуду в общежитие все приносили свою. Но у нас дома были только серебряные приборы. Мама купила их в русском эмигрантском магазине; ей очень нравилось, что на них выгравирован вензель “К”, – конечно, ложки не кишиневские, откуда им здесь взяться, но приятно. Но я же не могу с этой большой серебряной ложкой заявиться в пролетарскую среду, где все едят алюминиевыми китайскими ложечками. А пользоваться алюминиевой тоже не в состоянии – они так быстро облезали, становились зеленоватыми, противными. Как я в рот буду эту ложку совать? Я нашла выход. Взяла русскую деревянную ложку, расписную. И когда спрашивали: “А чего это ты такой ложкой ешь?” – я отвечала: “Такими ложками в Советском Союзе едят колхозники”. Ну, колхозники – совсем другое дело!

На меня даже приходили посмотреть; ложка меня прославила на весь институт.

5

Преподаватели были в основном китайские, но на испанском отделении (я выбрала его из-за восторга перед кубинской революцией) работала супружеская пара, из эмигрантов, что когда-то перебрались из Испании в Москву: они стали основателями китайской испанистики. А потом начали приглашать левых латиноамериканцев – мексиканцев,

колумбийцев, чилийцев. То есть были носители языка. Среди студентов тоже, пусть и редко, попадались представители соцстран. Возникали разные сюжеты, и романтические, и драматические. В дружественном нам Пекинском университете, например, учился парень из ГДР. У него была китайская девушка, которую внезапно вызвали и отправили вглубь страны, в Синьцзян, не дав никому сообщить и запретив вступать в переписку. Он очень переживал, искал ее, но без толку. Был и другой случай, напрямую задевший нашу семью. К отцу пришел советский аспирант Евгений Сеницын, на мой тогдашний взгляд, уже очень старый, я думаю, ему было двадцать семь – двадцать восемь. И рассказал, что у него девушка китайская, они уже решили пожениться, и вдруг им приказали прекратить общение: ее тоже куда-то отправляют. И говорит: “Товарищ Ли Лисань, я знаю, что у вас жена советская, вы не могли бы мне помочь? Вы же должны меня понять”. Ну, они поговорили. А когда Сеницын ушел, отец сказал довольно мрачно: “Вы же понимаете, что я ничего не смогу для него сделать: как бы мне самому не запретили мой брак”.

Я услышала – и окаменела... Но постаралась спрятаться от тяжелых мыслей.

Родители, конечно, понимали, что быть китаруской становится токсично. А я ни на что внимания не обращала, мы с Аллой были на особом положении, поэтому немножко наглые, самоуверенные. В Китае есть такая поговорка: новорожденный теленок тигра не боится. Поэтому мы общались с кем хотели, на танцы ходили и даже, когда папа уезжал в командировки, устраивали танцульки у нас дома: мама разрешала, при условии, что папа ничего не узнает. И когда кубинцы стали появляться в Китае – 1963-й, 1964 год, – мы их тоже стали приглашать. Против этих даже отец не возражал: они революционные, “свои”.

Но тут у нашей шестнадцатилетней Аллы начался роман с болгаринком. Он был старше нее, красивый парень, по-русски говорил прекрасно, маме очень нравился. Кстати, его мать была членом ЦК Болгарской компартии. И наша мама все переживала: “Если бы не испортились отношения, если бы не этот Хрущев, как все было бы хорошо. Ляля бы вышла замуж, уехала бы в Болгарию и горя бы не знала”. Однако Болгария не Куба – это не страна свершающейся революции, но ближайший союзник СССР. То есть пока еще не полный враг, но уже под некоторым подозрением. В отличие от “правильных” кубинцев “ревизионист” Теодоси – так звали Лялиного ухажера – мог приходить лишь тайком, когда папы дома не было.

Долгое время тайну удавалось сохранять, но как-то раз мы всей компанией решили отправиться в Пекинский университет на танцы. Теодоси должен был заглянуть за нами. И вот звонок с улицы. Наш особняк стоял в глубине двора, и, чтобы впустить гостя, нужно было через открытое пространство пройти к воротам. Обычно отпирал

вахтер, но тут отец почему-то пошел сам открывать. Думаю, надо его опередить. Подбегаю, а он уже отворяет большие ворота, предназначенные для проезда машины. За воротами – растерявшийся Теодоси, который знает, что ему нельзя показываться на глаза отцу. В полной растерянности он бормочет: “Нихао”. Вопреки всем ожиданиям отец просто кивнул, ни о чем не спросив. Мне показалось, он даже не осознал, что произошло. И я провела Теодоси в дом.

Причина отцовской невнимательности была проста и страшна: он уже был полностью погружен в свои политические неприятности. Его постоянная задумчивость была формой защиты от окружающей реальности.

И теперь от главки к главке, от эпизода к эпизоду о неприятностях будет все больше, а о привычных радостях все меньше, пока не наступит перелом и в политической, и в моей собственной жизни.

Глава 3

Государственные яблочки

1

К моменту поступления я уже немного знала испанский: целый год мы с Аллой занимались у кубинской журналистки (и бывшей актрисы) Марии Офелии. Она подарила нам кучу кубинских дамских журналов, поскольку, вопреки революционным порывам, Куба еще не прониклась духом социалистической морали и право на развлечения не отрицала. В итоге из обычной группы, начинавшей с нуля, я перевелась в более продвинутую, где учились выпускники спецшколы при нашем институте. Считалось, что это очень буржуазная, испорченная группа. Хотя на самом деле буржуазной и испорченной была только я. Но меня не трогали, я пока была защищена отцовской тенью, а в группе уже к концу семестра началась кампания проработки.

Одним из буржуазных преступлений, инкриминируемых студентам, стала вечеринка, которую они устроили по случаю европейского Нового года. Причем давным-давно, еще в школе. Они – о ужас! – поставили елочку. И не только пели испанские песни, не только танцевали, но и варили кофе. Кофе!!! Кошмар, испорченность! А несколько мальчишек, это уже в институте, удрали за пределы кампуса и заказали себе лапшу в трактире. Какой позор. Лапша – в трактире. Теперь им было велено обдумывать свою испорченность и публично каяться. Я сидела на

собраниях и тихонечко думала насчет себя: “Что же тогда сделают со мной, если до меня доберутся?”

Собрания проходили по определенной схеме. Сначала кто-то произносил разгромный доклад. А потом каждому полагалось вспомнить по четко составленным пунктам: что вы делали неправильного, нехорошего, ошибочного. Проанализируйте свои мотивации и напишите самокритику. Я слушала покаянные выступления и взвешивала, что смогу написать, а чего не буду писать ни за что. Я же не стану рассказывать, что я каждое утро пью кофе дома. На протяжении стольких лет. А что признаю, в чем покаюсь? Начала припоминать какие-то совсем безобидные вещи. Например, в анкете был пункт: чем вы себе позволяете пользоваться бесплатно? Не присваивали ли госсобственность? Я вспомнила случай, как мы с мамой в курортном районе ходили по какому-то государственному саду. И я там подобрала упавшие яблочки, позволила себе их съесть. Государственные яблочки съела. Так и написала. Но, повторюсь, самое мучительное было решать, о чем можно написать, а о чем – табу.

Об отце и последствиях для него я пока еще не думала; мне казалось, что он вне подозрений.

2

Маме я об этом мало рассказывала. И не только потому, что мы как-то чаще и теснее общались в те годы с сестрой. Просто не хотелось тратить на это домашнее счастливое время. Дома было так хорошо, я все-все могла себе позволить, вплоть до империалистического кофе. Но отпускали нас так накоротко... По субботам в шестом часу вечера я садилась на велосипед (привезенный из Москвы, с ножным тормозом – у китайцев были только с ручным) и мчалась домой. А на другой день полвосьмого пополудни должна была явиться в институт. Специально для того, чтобы никто не отлынивал, как в армии, устраивали так называемые совместные самостоятельные занятия, по группам. Изволь явиться как штык и сидеть, уткнувшись в учебники. Я приезжала всегда самой последней, но входила точно по звонку. Взмыленная, но не нарушившая правила.

Между тем ситуация все ухудшалась. Нас как бы готовили к полному разрыву с СССР.

Была создана специальная группа спичрайтеров во главе с Кан Шэном, которого я считаю одним из главных виновников гибели отца. Они стали печатать статью за статьей: в Советском Союзе началась реставрация капитализма, возрождается класс буржуазии. Повторялся один и тот же вывод: нельзя допустить в Китае прихода к власти просоветских ревизионистов. Кстати, войны с настоящей буржуазией тогда не очень опасались, потому что Мао Цзэдун сказал: все

империалисты – бумажные тигры. И атомная бомба – тоже бумажный тигр. А вот могущественный СССР...

А еще нас регулярно посылали в деревню. Как в Советском Союзе отправляли на картошку, так в Китае вывозили на пшеницу. Сначала ненадолго, на несколько дней, максимум на неделю. Потом, к 1965-му, начались политические кампании в деревне: чистка низовых организаций. И нас стали отправлять в статусе пропагандистских отрядов. Первый раз мы провели под Пекином около двух месяцев. Так и случилось первое мое соприкосновение с Китаем большинства.

Это тогда называлось “жизнь с крестьянами”. Питаться, естественно, нужно было вместе с ними, дома. Небольшими группками по два – три человека мы ходили сегодня к одному, завтра – к другому. В крестьянских домах был *кан*; в русском языке есть такое заимствованное слово: на Севере так называли что-то вроде огромной лежанки, под которую заводили дымоход для обогрева. Он полкомнаты занимал, этот кан. Ночью люди на нем спали, а днем складывали одеяла, ставили на кан маленький столик и за ним ели. Сидеть нужно было, сняв обувь и поджав ноги. Я этого не умела делать. Нас также инструктировали, чтобы мы не вели себя как баричи, а помогали по хозяйству. Но по хозяйству я тоже ничего не умела – ни готовить, ни стирать. Мне дома это не нужно было. Одежду – уже тогда! – у нас стирала машина. Пельмени лепил повар. А тут я всему научилась, с нуля.

Занимались мы, можно сказать, социологическими опросами. Но в классовом духе. Нужно было фиксировать классовое происхождение, социальное положение до 1949 года, как оно изменилось после 1949-го, имущественный статус и так далее. И еще записывать рассказы крестьян об их горькой жизни до освобождения, чтобы использовать в агитационных целях; тогда как раз проходила кампания “вспоминая горечи, ощущать сладость нынешней жизни”.

Но обычно получалось как. Мы приходим, просим крестьян постарше: “Поделитесь воспоминаниями о вашем горьком прошлом”. А они, чуть ли не повально, начинают вспоминать голод после создания народных коммун. Политинструктор объяснял нам: “Что с них взять, они несознательные. Вы должны их направлять в нужную сторону. Как только начнут жаловаться, прерывайте их: а вы лучше расскажите, как вы жили до 1949 года”.

А еще там был один *как бы* помещик. Ну, я помнила литературных помещиков у Льва Толстого, Тургенева, в русской классике. От бабушки слышала осторожные предания о нашем собственном помещичьем роде. А тут живой помещик! При этом китайский. И практически нищий. Дом у него был побольше, чем у соседей, но землю и все прочее имущество экспроприировали, и все пришло в такое запустение, что просто кошмар. Сплошная грязь, убогость, неустроенность. Он сам был

молодой, лет сорока. Но такой весь забитый, жалкий. И в основном отмалчивался – видимо, не знал, что говорить, а о чем лучше не стоит...

Конечно, мы ходили на работу в поле. Это все потом мне тоже пригодилось.

3

На четвертом курсе мы поехали уже надолго, на полгода, и не под Пекин, а в дальнюю провинцию Шаньси – очень консервативную, кондовую. Жили у местных, спали с ними на одном кане; все освещение – пузырек из-под чернил, в нем масло, фитиль, слабый огонек, а вокруг крошечная тьма.

Нас инструктировали:

– Девочки, если решите помыть ноги, не выносите тапки во двор. Только в закрытом помещении. Считается неприличным, если женщина демонстрирует обнаженные ноги. И воду экономьте, район засушливый, колодцы и водоемы в жару пересохнут.

Мы старались экономить. Утром наливали воду в тазик, умывались без мыла; возвращались в обед, использовали ту же воду – и тоже без мыла. И только в конце дня позволяли себе с мылом помыться и воду выплеснуть.

И еда была скудная, хотя провинция считалась не самой голодной. Они там испокон веков пшеницу сеют. А тогда в Китае было так: что сеешь, то и ешь. То есть риса не было совсем, но была белая мука, что в Китае считалось очень хорошим уровнем. Впрочем, кроме муки – ничего. Мы ели лапшу три раза в день; к ней полагались лишь уксус и красный перец, слегка обжаренный в масле. Даже овощей почти не было, что уж говорить о мясе. Ну, можно было хотя бы набить желудок, и на том спасибо.

Однажды кто-то из преподавателей поехал по делам в Пекин. Мама узнала, решила передать посылку, подкормить любимую девочку, собрала сумку с продуктами. И эту сумку преподавательница передала нашему политинструктору. Он меня вызывает к себе и строго так говорит: “Инна, тут тебе мама прислала посылку. Но мы считаем, что это неправильно. Потому что ты здесь для того, чтобы приобщаться к жизни крестьян, а не для того, чтобы питаться отдельно от них. Поэтому мы на партсобрании всё обсудили и решили, что вернем посылку маме. А сумку бери, сумка хорошая, крепкая”. Я была очень расстроена, конечно. Прихожу домой – и обнаруживаю, что в уголок сумки завалился плавленый сырок “Дружба”. А плавленого сыра даже в Пекине не было – его иногда нам из Москвы присылали родственники.

Я смотрю – ах! Какое счастье.

До сих пор помню этот вкус.

Но я даже не посмела поделиться с подружкой, потому что она меня осудила бы. Потихонечку, по крошечному кусочку сама съела.

В поле, где мы работали с местными, не было скотины, лошадей. Во время осеннего сева бабы впрягались в сеялку, а мужик правил и шел сзади. Ну и мы, девчонки, впрягались. Воду носили издалека. Научились пользоваться коромыслом. Вроде бы все шло неплохо, но тут я (по доброй воле!) занялась своим собственным идейным перевоспитанием – начала искать, что во мне неправильно. Пришла к выводу, что ощущаю чуждость по отношению к этим крестьянам, не могу их понять, потому что заразилась буржуазным духом. Стала себя упрекать: ты обязана проникнуться их заботами, почувствовать их близкими, родными. Старайся, Инна. Но никак не получалось, и я испытывала гнетущее чувство.

Были и смешные эпизоды. Праздник Весны. Всех студентов свезли в уездный центр (мы были распределены по разным деревням), чтобы крестьяне могли спокойно попраздновать, не тратясь на наше угощение. Вечером нас собрали на политзанятия в уездном зале, где было электричество. Мы входим в этот зал, смотрим друг на друга и начинаем хохотать. Потому что все такие грязные, в копоти. У нас же не было ни зеркал, ни чистых водоемов, чтобы посмотреть на свое отражение.

В конце концов устроили нам баню. А бани были старые, еще японцы, видимо, строили. Большие, с общим бассейном. Сначала девчонок пустили в этот бассейн, потом мальчишек. Впервые за почти полгода мы помылись – какое счастье!

Трудно было. С другой стороны, мы же были воспитаны советской литературой. Я вспоминала шолоховских персонажей, мальчишки вообще воображали себя потенциальными жертвами революции. Кто-то говорил: “Вот я иду вечером по деревне и все думаю, что кулаки нас ненавидят. И смотрю по сторонам, как бы кто-нибудь чего-нибудь не замыслил”. Такой настрой был, героизация. Конечно, смешно, задним числом даже дико. С другой стороны, это поддерживало, наверное, как-то.

4

Я уже упоминала о своем двоемирии. На собраниях мы на полном серьезе каялись в буржуазных настроениях, в деревне я искренне упрекала себя за оторванность от народа. А дома, когда приходили кубинцы, танцевала с ними ча-ча-ча, одевалась по-западному. В 1990-е годы один французский журналист писал книгу о маме и попросил у нас фотографии. Посмотрел – и не поверил:

– Как? Это шестидесятые годы? Маоцзэдуновский Китай? Тут же девушки, одетые, как парижанки того времени!

Это не было общей чертой золотой молодежи; та же дочь Мао Цзэдуна, дети других “вождей” не имели ничего подобного. Их держали очень строго – я видела это своими глазами, потому что до какого-то момента отец был вхож в семью кормчего, мы бывали у Мао в гостях, я играла с его дочерью, мама давала уроки русского языка его жене Цзян Цин. Виделись на разных киносеансах, концертах закрытых... И все – все! – одинаково удивлялись, как много мы, дочери Ли Лисаня, можем себе позволить.

При этом идеологическая обработка моего поколения усиливалась, а вождизм нарастал. Раньше запрещалось аплодировать, когда появлялся Мао, а теперь его статьи, переведенные на испанский, стали включать в список текстов, обязательных для изучения у нас на факультете. Началась борьба против “облеченных властью, но идущих по капиталистическому пути”; даже было изобретено такое слово, которое на русский язык перевели уродливо: *каппутисты*. Говорят, что словцо появилось с подачи или одобрения все того же Кан Шэна, несколько лет проработавшего в Коминтерне и считавшего себя великим специалистом по русскому языку, которого он толком не знал.

В начале апреля 1966 года мы вернулись в Пекин в полной эйфории: наконец-то! Но когда я пересекла порог родного дома, сразу же заметила, что мама встревожена, а отец мрачен.

– Что случилось? – спрашиваю.

Мама отвечает:

– А ты не знаешь, что в стране происходит?!

Я не знала и знать не могла. Оказалось, на самом верху уже разоблачили новую антипартийную группировку, из четырех членов Политбюро. В публичное поле информация не просачивалась, но началась артподготовка, разгромные статьи по поводу различных деятелей культуры, писателей. А 16 мая 1966 года прошел расширенный пленум политбюро ЦК, от которого историки “культурной революции” отсчитывают ее начало, хотя само выражение появилось раньше, даже соответствующая комиссия уже была создана. Но одно дело теория, а другое – реальный процесс.

Отец в этом заседании уже не участвовал, хотя и был членом ЦК.

На майском заседании маршал Линь Бяо выступил со странной речью. Обрушился на мэра Пекина, еще на целый ряд людей. На основе его речи было принято знаменитое постановление, которое иначе как великим не называли: “Председатель Мао Цзэдун постоянно учит: без разрушения нет созидания. Разрушение – это критика, это революция. Разрушение требует выяснения истины, а выяснение истины и есть созидание. Прежде всего разрушение, а в самом разрушении заложено созидание”. Интересно, что Мао Цзэдуна на заседании тоже не было; осенью 1965-го он уехал из Пекина и находился в Ханчжоу. Как потом выяснилось, он считал, что мэр Пекина превратил столицу в свое независимое царство и уже не подчиняется ему. А жена Мао

отсиживалась в Шанхае; неслучайно Шанхай потом стал оплотом леваков.

К тому времени я к политике стала относиться серьезней, читала китайские газеты, верила им. Но после пребывания в деревне хотелось иногда забыться, расслабиться. И вот прошло два – три дня после постановления; отец под вечер вернулся с работы. Мы с Аллой своими делами занимались, веселились. А он входит сумрачный, говорит жестко: “Инна, зайди ко мне в кабинет, я тебе там оставил бумажку на столе. Почитай”. Я пошла. Смотрю: документ под грифом “Секретно”. И в нем – прямым текстом – сообщается, что Китай стоит на грани реставрации капитализма. И знаменитая фраза о том, что есть китайские хрущевы, которые живут у нас под боком и которых нужно разоблачать, а иначе может произойти насильственный переворот, и тысячи, миллионы людей лишатся голов. Позже стало достоянием то самое выступление Линь Бяо, который истерически кричал, употребляя выражение “*ку-де-да*”. Я сначала не поняла. Что такое *ку-де-да*? Старинное китайское слово? Отец объяснил: это французское *coup d'état*, государственный переворот. И нужно, кричал Линь Бяо, чуть ли не переходя на мат, найти зачинщиков.

Вскоре в Пекинском университете стали осваивать опыт борьбы с каппутистами, переноса его из деревни в город, в учебные заведения. “Борьба против буржуазной линии в сфере образования”. Мнения разделились. Кто-то был за ректора, кто-то против – и называли его ревизионистом. В итоге противники ректора обратились напрямую к студенчеству, вывесив первое дацзыбао – рукописную газету большого формата с крупными иероглифами. Они заявляли, что ведут непримиримую борьбу за идеи революции и призывают всех подняться на защиту линии Мао Цзэдуна. Было ли это инспирировано сверху или стало результатом самодеятельности, но рассказывали, что Кан Шэн тут же позвонил Мао Цзэдуну в Ханчжоу и донес до него содержание дацзыбао. Тот приказал: “Немедленно распространить по всем каналам”.

Время года было теплое. Студенты высыпали на улицы. И я навсегда запомнила 31 мая. У нас в институте еще шли занятия, но уже ни шатко ни валко. Мы с подружкой отправились с утра в институтскую библиотеку – пока добирались, было тихо, а возвращаемся, уже всюду звучат репродукторы, по центральным радиоканалам зачитывают студенческое воззвание. Все застыли, как в игре “Замри, умри, воскресни”. И слушали. Потом мы узнали, что так происходило всюду, по всему Китаю. И студенты восприняли это как клич боевой трубы.

Несмотря на общее возбуждение, мы с девчонками отправились в общежитие и легли спать как ни в чем не бывало. А проснулись словно в другой стране. Весь кампус в движении. Кто-то несет новые дацзыбао, кто-то пытается их остановить, те более или менее жестко сопротивляются, расклеивают, развешивают. Студенты кучкуются,

обсуждают, спорят. В общем, буря, взрыв студенческой энергии. Так что лично для меня “культурная революция” началась утром 1 июня 1966 года.

Ректорат все это вынужден был разрешать. Актный зал превратился в пространство протеста. Натянули веревки, на которые можно было крепить огромные листы бумаги. И снаружи, вдоль всех аллей, тоже болтались дацзыбао. Полная демократия. Пиши что хочешь. Мне это вначале нравилось. Тем более что острое борьбы было направлено тогда против бюрократизма партийных структур и зажима конкретных студентов. Но тут же начались совершенно дурацкие вещи. В первые же дни стали выискивать скрытых контрреволюционеров. Например, я очень хорошо запомнила: отыскивали какой-то литературный журнал с иллюстрацией, на которой, как положено, были изображены рабочий, солдат, крестьянка, а на обороте – портрет Мао. В дацзыбао бдительно предупреждали: “Товарищи, внимание! Если вы посмотрите иллюстрацию на просвет, то увидите, что дуло автомата направлено прямо на председателя Мао Цзэдуна. Это дело контрреволюционеров”.

Писали, повторюсь, от руки, потому что на весь университет была одна-единственная машинка в ректорате, размером с письменный стол. На клавиатуре умещались только самые употребительные иероглифы. А рядом стояло несколько запасных коробов со сменными иероглифами, которые нужно было добавлять по мере необходимости. И машинка ползла с черепашьей скоростью. Поэтому на ней печатали только самые ответственные документы. Зато быстро освоили технологию ротاپринта, тиражировали тексты на восковке. Забегая вперед, скажу, что в нашем штабе я тоже печатала такие листовки, чувствуя себя героиней-революционеркой и вспоминая книжку “Мальчик из Уржума” про юного Кирова, который был подпольщиком в типографии.

Но все это была прелюдия, основное действие еще не началось, потому что Мао Цзэдун тихо сидел в Ханчжоу и выжидал. В Пекине он оставил на хозяйстве Лю Шаоци, председателя КНР, и Дэн Сяопина. Те решили взять в руки хаотичную студенческую массу, направить протест в нужное русло. Даже слетали к Мао, чтобы заручиться поддержкой. Но великий кормчий улыбнулся и ничего толком им не ответил. Сказал: “Ну, смотрите сами по ситуации”.

Тем не менее в университеты были присланы рабочие группы – из верных партийцев и надежных чиновников. Тут же начались столкновения. Ребята распалились, почувствовали себя революционерами, которым мешают ревизионисты. Начались открытые конфликты. Студенты поднимались по тревоге, строились в колонны, устраивали демонстрации внутри кампуса. Я не была среди активистов. Но и меня атмосфера революционной демократии воодушевляла.

Потом сверху (но явно не от Мао) было спущено указание слегка поприжать бунтарей. В течение трех или четырех недель нас не отпускали домой и подвергали, я бы сейчас сказала, изошренной

морально-психологической пытке. Главных активистов, “зачинщиков” заставляли каяться, иезуитскими методами публично подводили к признанию, что они не просто выступили против партии, но имели контрреволюционные мотивы. Это было мучение и для тех, кто каялся, и для тех, кто наблюдал за ними.

В самом начале событий я поговорила с мамой и отцом. С мамой встретилась прямо в институте, заглянула к ней в преподавательскую – она работала в том же институте, где я училась. Она была в ужасе: “Инна, что происходит? Ты знаешь, у меня такое впечатление, что надвигается тридцать седьмой год”. Я: “Мам, что ты говоришь! Какие глупости. Это революция!” С отцом успела пообщаться дома – до того как перестали выпускать за проходную. Он, наоборот, считал, что я должна активно участвовать в революции. Как тогда говорили, “закаляться в бурях и ветрах”.

Но вскоре папины дела пошли значительно хуже. Числа 6–7 июня ему велели не ходить на службу и не выбираться в город, просто сидеть дома и думать о своих ошибках. Он попробовал попасть к первому секретарю Северного бюро ЦК; тот не захотел с ним встречаться. В общем, было много нехороших сигналов. Хотя его пока не трогали.

Но потом Мао Цзэдун вернулся в Пекин. Во второй половине июля. Заявил (это уже мы потом узнали), что Лю Шаоци, Дэн Сяопин и Пэн Чжэнь, мэр Пекина, допустили ошибку, направив рабочие группы для подавления студенческого движения. И произнес знаменитую фразу, которая потом появилась на первой полосе “Жэньминь жибао”: “Все, кто подавляет молодежное движение, плохо кончат”.

Только-только университетские активисты признали свою вину и стали готовиться к исключению и отправке в деревню – так в свое время поступили с “правыми элементами” – и вдруг такой резкий поворот. Разумеется, затухающее пламя снова взметнулось.

Глава 4

Русские хунвейбинки

1

Вернувшись домой после трехнедельной изоляции, я спросила отца: “Пап, а все-таки, как ты считаешь, рабочие группы и вправду допустили ошибку, притормаживая студентов, или нет?” Он ответил: “Если дали приказ их отозвать из университетов, значит, они допустили ошибку”.

Не знаю, действительно ли он так думал, или заботился о моей безопасности, хотел, чтобы я шла в русле “правильного течения”. Но я восприняла его слова как руководство к действию, стала более активной – и более революционной.

Незадолго до 18 августа всех предупредили: готовьтесь выйти на площадь Тяньаньмэнь. Неважно, какой “линии” вы придерживаетесь – всем велено быть. 18-го ни свет ни заря нам подали автобусы. Довезли до центра, сказали построиться. Вроде бы ничего необычного: нас так вывозили на любые праздники, 1 Мая, 1 Октября – день образования КНР. Давали каждому задание: ты пройдешь в колонне по площади, а ты встанешь на указанном месте, вскинешь бумажные цветы, обеспечишь красивую картинку.

Но 18 августа почему-то сразу стало ясно: на таких парадах мы еще не бывали. Конечно, Тяньаньмэнь – это вам не Красная площадь, а его трибуна не Мавзолей. Расстояние между толпой и вождями огромное, разглядеть детали нелегко, но я все-таки со многими встречалась накоротке, знала в лицо. Первое, что бросилось в глаза: Мао Цзэдун в военной форме. Начиная с 1930-х годов он ходил в сером, реже в синем кителе, полувоенном, но это все же не армейская форма. А теперь он был одет по-военному, в ярко-зеленую форму, на рукаве повязка – точно такие носила молодежь, с надписью “Хунвейбин”. Кстати, слово “хунвейбины” в тогдашних советских газетах сначала переводили как “красные охранники”. На самом деле слово связано с понятием “красногвардеец”: в 1920-е годы в Китае тоже были отряды красногвардейцев, но, видимо, в России не захотели поддерживать такую революционную коннотацию.

Все соратники Мао тоже были в военной форме, за исключением второго человека в партии, Лю Шаоци, который был в сером, гражданском, и стоял довольно далеко от центра. Только впоследствии мы узнали, что незадолго до парада хунвейбинов прошел пленум ЦК, который не сместил Лю Шаоци окончательно, но отодвинул его далеко назад. То есть и форма, и место на трибуне – это был сигнал, что его политическая карьера заканчивается.

Это то, что я разглядела из толпы. А уже потом, просматривая хронику, увидела, как неторопливо, с сознанием своего достоинства, Мао прошелся из одного конца трибуны в другой. Останавливался, снимал кепку, приветствовал проходящие ряды хунвейбинов, шел дальше. Более того: он пригласил на трибуну этих школьников, зачинателей хунвейбинского движения. Обласкал, поговорил на виду у толпы и оставил рядом с собой. Еще одну историю рассказали газеты: Мао спросил старшеклассницу, как ее зовут, она ответила – Бин-бин, то есть “деликатная, вежливая”, а великий вождь сказал: “Надо зваться Яо-у” (“воинственная”, “боевая”). После чего на следующий день она официально поменяла имя, стала Яо-у. (Кстати, отец ее был достаточно

высокопоставленным партийцем.) А посланный вождем сигнал тут же восприняли все хунвейбины: надо быть воинственной.

Самое интересное, – позволю себе отступление, – что я встретила ее много лет спустя; оказалось, что она с начала 1980-х жила в Америке. Уехала учиться, осталась работать, причем в какой-то государственной административной структуре. Видимо, с американским паспортом. Ну а выйдя на пенсию, перебралась назад, к маме, вдове члена ЦК. Вот такая хунвейбинская метаморфоза.

А дальше понеслось. Хунвейбины поняли, что находятся под самым высоким покровительством. В “Жэньминь жибао” их стали называть “застрельщики революции”, что значило: они несут в себе высшую истину и справедливость. И через день-другой эти школьники вышли на улицы, стали устраивать массовые погромы.

Нашего кампуса беспорядки коснулись не сразу, мы были отсечены от города, изолированы от него. Но когда я первый раз после парада поехала домой, причем не на велосипеде, как обычно, а на троллейбусе, то заметила, что в центре происходит что-то странное. Всюду школьники с повязками, они тащат каких-то людей, кого-то волокут за волосы, кого-то за одежду, кого-то за руки. Из домов выносят вещи. Дома мама рассказала, чему ей пришлось стать свидетелем. На противоположной стороне нашего переулка стояли не обычные китайские фанзы, а коттеджи в американском стиле, которые когда-то принадлежали бывшей рокфеллеровской больнице. В коттеджах жила медицинская профессура, и на нее-то набросились хунвейбины. “Там было что-то ужасное. Мы сидели в саду и слышали, как бьют посуду, ломают и выкидывают мебель”.

Сейчас, задним числом, мне трудно восстановить свою тогдашнюю логику. Но понимание того, что происходит нечто недопустимое, как-то уживалось с готовностью и желанием стать частью новой революционной стихии. Вскоре мы с Аллой решили, что тоже пошьем себе военную форму, даже не по идейным соображениям, а просто потому, что это становилось модно. Надевать уродливые мешковатые кители с чужого плеча мы при этом не желали. Решили, что закажем себе одежду у портнихи, а за образец возьмем кубинскую форму “верде оливо”. Нашу семью обшивала японка, вышедшая замуж за китайца и оставшаяся после окончания войны в КНР. Дай ей любой фасон, она с любым справится. А у нас имелись настоящие кубинские журналы, так что с выбором модели был полный порядок, оставалось только приобрести подходящую ткань.

Вечером мы отправились на торговую улицу Ванфуцзин, где располагался главный универмаг. Оделись, как нам казалось, скромно – юбочки, блузки. Купили ткань, возвращаемся по той улице, уже вечер. И вдруг возникает ощущение напряженности, может быть, даже опасности. Оглядываюсь – сзади, на некотором расстоянии от нас, движется группа мальчишек, явно дворовых, из бедных семей. Одному

лет двенадцать, другим четырнадцать – пятнадцать. Но все с повязками на руке. И они неотступно следуют за нами. Очевидно, прислушиваются, но вплотную к нам не приближаются. Почему? Явно же что-то задумали. Говорю тихо: “Ляль, ты обратила внимание?” – “Да. Слушай, Инн, они же борются с буржуазностью, могут с нас «неправильную» одежду содрать”. А не нападают, видимо, лишь потому, что не в состоянии точно определить, кто мы – китайки или иностранки. (Иностранцев в тот момент пока еще не трогали.)

И мы нырнули в универмаг, спрятались в женском туалете. Выглядываем – мальчишки встали напротив входа и ждут. Мы стали совещаться, что делать. Я предложила удирать поодиночке, потому что вместе мы особенно выделялись из толпы. Лялька-то была одета чуть поскромней, к тому же она поменяла прическу – раньше был хвост, а стали косички. А у меня же волосы кудрявые... (Позже, когда “культурная революция” перешла в новую фазу, мне кричали, что наголо постригут, думали, что у меня перманент.)

В общем, проскользнули. Я мчалась со всех ног. Думаю: а Ляля как? Добежала, не добежала? К счастью, она добралась даже раньше меня.

2

С этого трагикомического эпизода начинается история моих пересечений с хунвейбинами. Поначалу почти безобидная. Они мне даже в чем-то нравились, казались героями дня. Однажды я вошла в аудиторию и увидела записанные кем-то на доске слова агитационной песни. “Возьмемся за перо – это наши сабли и пики. Огонь, огонь! Мы бьем черную банду. Бунт поднимают студенты и школьники. Мы – застрельщики «культурной революции»!” Это была цитата из той самой песни хунвейбинов, которая потом войдет в историю и станет их “Гимном бунтарей”.

У нас в университете собственных хунвейбинов тогда еще не было. Но вскоре они появились к нам в кампус, и мы впервые их увидели вживую. Это были школьники старших классов. Мальчишки, девчонки четырнадцати, шестнадцати, семнадцати лет. На наш взгляд, мелкие, сопливые. Но все одеты в желтоватую выцветшую военную форму, которую, как потом выяснилось, они брали у старших. Все в кепках, подпоясаны толстыми ремнями. Хунвейбины боевым строем промаршировали через весь кампус, выкрикивая лозунги. А один из главных их лозунгов был связан с чистотой классового происхождения. Они его скандировали – там, разумеется, была рифма, но я прозой переведу. “Если отец – герой, то и сын – герой. А если отец – мерзавец, то и сын – мерзавец”...

Наш кампус давно уже разделился на “меньшевиков” и “большевиков”, не по аналогии с историей КПСС, а просто по

количеству сторонников. Мы, “меньшевики”, изначально считали себя более левыми и революционными, поскольку ко-гда-то боролись с “рабочими группами”. И первыми создали хунвейбинскую дружину “Красное знамя”. Но и “большевики”, бывший партийно-комсомольский актив, которые вначале стеной встали на защиту парткома и рабочей группы, быстро перекрасились и полевели, стали даже радикальнее нас. Они называли себя “Дружина бунтарей”. Впрочем, студенты в целом вели себя потише, зато школьники буйствовали, в том числе на территории университета. Однажды я увидела преподавательницу с другого факультета. Она шла заплаканная. Ей срезали волосы – только потому, что у нее был пучок, а они требовали, чтоб женщины носили революционные короткие прически.

Молодежь легко разогреть, и она пойдет устраивать погромы. Через неделю, когда я снова приехала на выходные, меня встретил встревоженный отец: “Поговори с Лялей. Мама просто в истерике”. Оказалось, Ляля хоть и не была школьной активисткой, но все же к одной из хунвейбинских организаций примкнула. И однажды вместе со своей группой пошла по домам выявлять, скажем так, бывших. То есть помещиков, буржуев. Тех, у кого нехорошая биография. И там были учинены погромы. Кого-то избивали, кого-то выгоняли из дома. И когда Ляля вернулась, ей стало плохо. Она рыдала, не могла в себя прийти.

Мне подобного пережить не довелось, слава богу. В студенческой среде тоже началось насилие, но оно проявлялось иначе. Стали надевать на профессоров и на нелюбимых партработников бумажные колпаки и водить по кампусу. А это старая китайская традиция, которую закрепила ранняя работа Мао Цзэдуна “Отчет о расследовании революционного крестьянского движения в провинции Хунань”, где он с восторгом писал, как во время революционного подъема крестьяне врываются в дома помещиков, надевают на них колпаки, водят по деревне, топчут их кровати, и это очень хорошо и очень правильно, потому что революция не делается в лайковых перчатках. По-китайски немножко другие образы, но смысл такой же: революционное насилие всегда оправдано. Эту статью перепечатали газеты. Мы ее читали, перечитывали, изучали; в конце концов, рекомендации Мао стали применять на практике.

Некоторые студенты были недовольны, например, партсекретарями или партинструкторами курсов. Во многом справедливо: те писали отрицательные характеристики, могли делать гадости, влиять на хорошее и плохое распределение. Начались “митинги борьбы”. Одного такого инструктора вывели во двор, заставили влезть на стол для пинг-понга, кричали, что он сделал преступный выбор, подавляет молодежное движение, надели колпак и повели позорным шествием по кампусу. Митинги разрастались, из аудиторий и актовых залов они переместились на университетские стадионы, на проработку стали приводить преподавателей и партийцев из других институтов. Хотя в

июне – июле еще не били, но агрессия имеет свойство нарастать. Потом хунвейбины из разных вузов и школ объединились в городские организации; возникло три штаба, причем третий был самый радикальный. А так как мы были зачинатели движения против “рабочих групп”, то наша дружина вошла в этот третий штаб, который гремел на весь Китай.

Споров о том, правильно ли мы действуем, не было. Были споры только о конкретных людях – считать этого человека *каппутистом* или не считать. Но практически всех записывали во враги – не одна, так другая организация. Уровень атак все время повышался. Начали со своего факультета, вышли на уровень ректората и партбюро. А потом сочли своим долгом выискивать так называемую *черную линию* в руководстве министерств. Наш Бэйвай тогда находился в ведении МИДа, и у нас стали появляться даже дацзыбао против министра иностранных дел Чэнь И. Я тогда приехала домой, говорю: “Пап, а у нас уже против Чэнь И дацзыбао наклеили”. Отец возразил: “Ну, его вам свалить не удастся”. Действительно, Чжоу Энълай защищал Чэнь И до последнего. В итоге министр тоже попал в опалу, но все-таки не столь жестокою, как та, через которую пришлось пройти другим руководителям.

Против насилия практически никто голоса не поднимал – было всего несколько случаев “протеста против протеста”. Кто-то осмелился написать дацзыбао о перегибах, у кого-то нашли дневники, в которых выражались сомнения по поводу жестоких методов. Но таких сразу объявляли контрреволюционерами. Одну девушку с немецкого факультета сдали в “органы”; те упекли ее в тюрьму. Это был уже конец августа, сентябрь.

Эйфория революционного насилия охватила всю молодежь – поперек никто не решался действовать, максимум, на что были готовы сомневающиеся, – как-то дистанцироваться. В самом начале еще, когда только-только стали появляться хунвейбины, мы с подружкой пошли к нашему декану посоветоваться. Он был очень интересный человек. Его отец при гоминьдановцах служил мэром Пекина, сам он получил прекрасное образование, учился в Японии и, как говорили, увлекался скачками. А потом примкнул к революции. Ему не очень доверяли, хотя он и занимался в свое время подпольной работой. Он нас выслушал и сказал: “Знаете, девочки, вы, конечно, еще очень молоды. Многого не видели, не знаете. Просто будьте осторожны”. Мы были несколько смущены этим, поскольку ждали одобрения революционных порывов. В итоге не послушались, конечно, но не полезли в первые ряды. Впрочем, как бы я себя ни вела, все равно оказалась бы там, где оказалась в итоге.

Август и сентябрь мы, “меньшевики”, потратили на то, чтобы доказать свою правоту в споре с “большевиками”; ходили и в отдел пропаганды ЦК КПК, и в приемную Госсовета. И добивались встречи с министром иностранных дел. Чэнь И вообще-то был старым другом моего отца, они еще вместе во Франции учились. Судьба развела их на какое-то время, но в Пекине они стали регулярно, по-дружески встречаться, играть в игру, которая по-русски называется “го”. Чэнь И домой к нам приезжал, отец к нему ездил. Потом они стали назначать встречи на нейтральной территории, в правительственной гостинице “Пекин”. Одним словом, я его хорошо знала с раннего детства. Он такой веселый был дядька. Как-то пришел к отцу, стоит в дверях гостиной. Я собираюсь выйти. А он: “Ну-ка, скажи, ты кто? Китайка? Или иностранка?” А я что-то промычала и мимо него проскользнула. Такие были отношения.

И тут нашей группе назначают с ним встречу в закрытом партийном клубе, хорошо охраняемом. Я отправилась на велосипеде и чуть задержалась. Появилась, когда основная группа уже прошла; пока у ворот охранники разбирались, кто я и что я, короткая встреча закончилась. Иду, сопровождаемая охранником, по красивой китайской галерее. А навстречу мне Чэнь И, за ним наши ребята, что-то еще пытаются доспросить. Он видит меня, восклицает: “А! Илла! – У него сычуаньский диалект, а сычуаньцы путают «н» и «л». – И ты здесь?” Типа и ты, Брут? Но вполне дружелюбно.

Это была моя последняя встреча с ним; в 1971-м он умер, его довели до рака – основные события вокруг МИДа, весьма драматические, развернулись позже, когда я была уже в тюрьме.

4

Мао Цзэдун заявил, что Пекин – очаг революции, а пламя революции нужно разжигать по всей стране. После чего Политбюро и практически все партийные органы утратили свою власть; отныне страной управляла группа по делам “культурной революции”. Она-то и продавала решение о бесплатном проезде всех учащихся Китая любыми видами транспорта по всей стране. (Ну, регулярных авиарейсов тогда почти не было, поэтому речь шла об автобусах и поездах.)

Кроме того, местным руководителям велели организовать бесплатное проживание и питание прибывающей молодежи на базе кампусов, а в городках поменьше, не университетских, – в средних школах.

Примерно с конца сентября хунвейбины стали разъезжаться по стране. Например, мой двоюродный брат, наш с Аллой ровесник, который учился в Пекинском институте машиностроения, сразу же отправился в соседний город, где вел революционную агитацию среди

жителей. Хунвейбинам было чем заняться – они не только распространяли свет революции, но и охотно разоблачали друг друга, писали доносы: типа такой-то активист заявил, что едет разжигать революционный пожар, а на самом деле прихватил свою подружку, и они укатили непонятно куда, но понятно зачем.

Я так засиделась в Пекине, что хотелось тоже сорваться с места, посмотреть, что происходит в стране. Но если уж куда-то ехать, то в приятной компании. Мы сколотили свою хунвейбинскую группу из трех китарусок: я, Ляля и Рая с французского отделения, чистокровная китайка, но выросшая в Москве. Составили маршрут. Сеть железных дорог тогда была еще слабой. Из Пекина мы решили выдвинуться на юг, через Нанкин и Шанхай в Ханчжоу. И потом можно было через Куньмин заехать в Сиань, замкнуть круг.

Выехали в 20-х числах октября. Вокзальная площадь была усеяна хунвейбинами. В основном учениками средней школы, с 7-го по 12-й класс. Ну и, конечно, студентами. А самым младшим лет по двенадцать: даже 5–6-е классы к тому моменту пришли в движение.

Подали состав. Все набились в него, как в фильмах о гражданской войне. Уже поздно, чуть ли не полночь; мы с трудом нашли место в уголке, поспали несколько часов. Открываю глаза – поезд еще стоит. “Он опять поспал немножко и опять взглянул в окошко”. Таким образом, с затяжными остановками, мы за двенадцать часов добрались до соседнего города Тяньцзиня, 100 с небольшим километров от столицы. Весь график движения был сбит этими хунвейбинскими составами.

В Нанкине – первая запланированная остановка. Сразу на вокзале – приемный пункт. Мы показали наши студенческие удостоверения, получили направление в университет с разрешением оставаться сколько захотим. Вообще, жить во время путешествия нам приходилось по-разному. Как правило, даже не на кроватях спали: кое-где просто вынесли столы из аудиторий, накидали сено. Но в юности это не так важно, в любом положении хорошо спится. Есть приходилось что дают, в основном рис и чуть-чуть овощей, соленья какие-то. У нас были, конечно, карманные деньги: мы с Лялей – дочери (всё еще) привилегированного отца, у Раи папа – заведующий департаментом МИДа. То есть тоже не бедная девочка. Но мы решили сохранять революционную сознательность; будем питаться согласно тем нормам, какие существуют в институтских столовых. На половину юаня в день на человека. Вечером сводили бюджет, если перерасходовали, то на следующий день сэкономили.

Но вот мы прибыли в Шанхай, который был самым европеизированным городом в Китае. Здесь даже в простеньких кафе и магазинах продавали вкусные пирожные. Самое дорогое – с кремом – стоило всего 10 фыней, китайских копеек. Такое роскошество мы могли себе позволить: выпить кофе и съесть по пирожному. А нужно сказать,

что летом 1965-го, за год до хунвейбинского путешествия, мы с Лялей и родителями были в Шанхае. Заходили в одно из лучших кафе на главной улице. Там царил старорежимный дух, всё изысканно. Я и предложила девочкам: “Давайте зайдем! Может, то кафе еще работает, удастся полакомиться”.

Были мы, как всегда, в полувоенной форме, с повязками. Единственное, у меня не было нормальной фуражки, поскольку отец никакого отношения к армии не имел, а достать фуражку было трудно. Волосы у меня тогда были пышные, торчали, как грива, и я их прятала под отцовской кепкой (светлые волосы вызвали подозрение, с чем мы уже столкнулись в Нанкине).

Так, в хунвейбинском облачении, мы и вошли в самое пижонское кафе Шанхая, поднялись на второй этаж. Видим, публика молодая, но какая-то странная. Все одеты вроде как принято, в синие кители, на головах кепки. Но полагалось китель застегивать наглухо и сидеть с прямой спиной. А они какие-то расслабленные, нога на ногу, курят, кители распахнуты, вороты рубашек видны. Нам-то было наплевать, мы же пришли кофе выпить и пирожные съесть, но публика заерзала. Начала как-то подбираться. Ножки складывают. Пуговички застегивают. Садятся ровно. На нас смотрят исподтишка. Ба! Они ж нас приняли за один из хунвейбинских патрулей, которые следили за моральным порядком, что-то вроде полиции нравов.

Подходит официант, мы делаем заказ. Тут публика начинает расслабляться, напряжение спало: не патруль, а такие же мелкобуржуазные элементы.

Через пару дней мы узнали от студентов института иностранных языков, что в городе пройдет футбольный матч. Международный! Албания – Китай. Надо пойти посмотреть, развлекаться-то больше нечем. И там на трибунах мы встретили знакомого шанхайца, который играл одно время в государственной сборной по пинг-понгу, жил поэтому в Пекине и заглядывал к нам в гости. И он спрашивает: “А вы в шанхайское кафе ходили?” – “Ходили”. – “О! Теперь понятно. Тут слух прошел, что какие-то странные хунвейбины появились в Шанхае. Заходят в кафе, заказывают кофе, пирожные, никого при этом не трогают. Я, – говорит он, – не поверил, таких хунвейбинов быть не может”.

Но пирожными дело не ограничивалось.

На улицах Шанхая к нам подходили разные люди, кто помладше, кто постарше: “Мы рабочие. А вы, хунвейбины, откуда?” Мы отвечаем: “Пекин, третий штаб”. – “О, третий штаб. Слушайте, у нас сейчас будет митинг революционный. Пойдемте с нами. Выступите, подогреете энтузиазм”. С одной стороны, как откажешься, с другой – у Ляли русский акцентик звучит, Рая по-русски говорит лучше, чем по-китайски, это заметно. Господи, придется мне выступить. Нас повели в старый шанхайский кинотеатр, многоярусный, похожий на оперный

театр. Весь набит рабочей публикой. Скорее молодой, чем пожилой. Я выхожу на сцену, произношу пламенную речь в поддержку товарищей рабочих. Кричу: “Да здравствует товарищ Мао Цзэдун! Да здравствует революционная линия Мао Цзэдуна!”

И раздаются бурные аплодисменты.

5

В итоге путешествие затянулось.

Группа по делам “культурной революции” объявила: прекращаются занятия во всех учебных заведениях, чтобы молодежь могла заниматься революцией. ЕГЭ тоже отменили, вместе с поступлением в университеты. Мы думали, что однократно (как раз Алла должна была сдавать), выяснилось, что надолго. Так что вся молодежь была свободна. Добравшись до Ханчжоу, мы не только выполнили свой революционный долг, участвуя в собраниях, но и погуляли вокруг прекрасного озера Сиху. И решили, что пора двигаться дальше.

Учитывая прежний опыт, встали пораньше, чтобы первыми прорваться в вагоны и занять сидячие места. На вокзале военные выстраивали хунвейбинов в организованную очередь, мы были в ее начале, но перед самой посадкой выяснилось, что офицер перепутал платформы, все сбилось, и первые стали последними. Нужный нам поезд был набит под завязку, у нас не было шансов взять его штурмом. А в город Куньмин, куда мы намылились, поезда ходили только раз в сутки. Заночевали прямо на перроне, чтобы опять не проморгать состав. Был уже ноябрь – даже на юге в это время уже не очень уютно. Нашли под навесом циновки, надели на себя все что можно, укутались с головой. Наутро встаем, и выясняется, что нужного нам поезда вообще не будет. Потому что в революционную борьбу стали втягиваться рабочие, и забастовщики перекрыли линию возле Шанхая. Мы поняли, что вторую ночь на вокзале не выдержим, и приняли единственно возможное решение: садимся в первый попавшийся поезд.

Но легко сказать – садимся. Подходит поезд. Он уже полон, только в одном вагоне окна открыты. Вещей у нас не так много, но все-таки у каждой по сумочке. Сначала посадили Аллу, как младшую, потом Раю, потом сумки закинули. Хунвейбины, сидевшие в вагоне, сначала реагировали спокойно: ладно, залезла одна девчонка. Потом вторая. Потом сумки появились. Они решили, что это перебор, и стали окно закрывать. А я как раз лезу. Была страшная минута, когда Ляля и Рая пытались меня затянуть, а мальчишки выталкивали. Я бы не расшиблась, но осталась без документов и денег. Они уедут, а дальше что? Тут подходит железнодорожная милиция. И милиционер начинает увещевать хунвейбинов, почти унижаясь, – милиция в тот момент была

слабее революционных подростков: “Ну, ребята, ну, пожалейте девочку”. Уговорили. Я кувырком свалилась внутрь вагона.

Так мы попали в закрытую провинцию Фуцзянь, через пролив от которой Тайвань. Ее только для хунвейбинов открыли. Там было тепло, хорошо; мы задержались недели на три; деньги кончились, пришлось слать телеграммы домой. А дома у мамы была паника: нас, наверное, арестовали или, хуже того, избили. Потому что уже начались столкновения на местах.

Хунвейбины должны были не просто ходить по заводам, а сами участвовать в труде. Именно так: не полноценно “трудиться”, а “участвовать в труде”, на подхвате. Мы явились на какой-то маленький заводик; нас приняли с радостью, отвели в цех. Слава богу, что в советской школе у меня были уроки труда. Знакомые инструменты: напильники, тиски. Мы поработали этими напильниками, но недолго. Зато подружился с балетными и оперными артистами местного театра – на каком-то митинге познакомились. Даже устроили пикник на берегу реки. То есть совмещали полезное с приятным, революционное с личным.

В итоге деньги нам прислали. И в декабре после двух с половиной месяцев отсутствия мы вернулись. Навсегда запомнились эти переполненные вагоны, временные туалеты на станциях, море разливанное нечистот.

Все мирились с хаосом и антисанитарией ради массового передвижения молодежи.

6

В конце концов наверху почувствовали, что дело заходит слишком далеко, вяло попытались пригасить активность. Мы приехали в Пекин, как раз когда вышел партийный призыв к хунвейбинам *продолжить революцию дома*. Предупредили, что бесплатные поездки скоро прекратятся. Даже ходили слухи, что в марте восстановят занятия и завершат хунвейбинскую кампанию. Но в реальности завершить ее было уже невозможно, потому что вслед за университетами подтянулись заводы и учреждения, и началась новая фаза, так называемый *захват власти*.

В Шанхае левые революционные организации вообще отстранили горком от управления и образовали революционный комитет. И по этому образцу всюду стали создавать ревкомы, захватывать ведомства. В частности, мой двоюродный брат, хороший парень, с такой силой поверил в левые идеи, что вошел в число активистов, взявших власть в министерстве машиностроения. Как он сам рассказывал, у него недели на две оказалась печать министерства. У нас, конечно, до этого не доходило: МИД все-таки особое дело. Но и в МИДе стали появляться

свои дипломатические дацзыбао, с весны там развернулась внутренняя борьба против мидовского руководства. Наша дружина к тому времени стала переходить на более охранительные позиции. А бывшие охранители, наоборот, стали очень рьяными и нацелились на Чжоу Эньлая, который курировал внешние дела.

В 1966-м отца не очень трогали. Он в основном сидел дома. Но не умел бездействовать. Начал ездить по всяким учреждениям, где вывешивали дацзыбао. Он же не имел больше доступа к закрытым документам, а информация “Жэньминь жибао” его не устраивала. Он хотел понять, куда все это может пойти. При этом у него был все-таки азарт конспиратора. В последние годы перед “культурной революцией” он часто ездил в деревню: его уже не очень допускали до серьезной работы, и он руководил “на местах”. От этих поездок у него осталась большая, толстая, на овчине военная шинель. Шапка защитного цвета. Иногда он надевал марлевую повязку: ее носят в Китае от холода, а не только от эпидемий. И в таком виде ходил в пекинскую мэрию, в министерства, читал дацзыбао.

Надо сказать, что люди из obsługi, долгие годы работавшие с отцом, его не предали. (Хотя у многих обслуга оказалась в числе первых бунтарей, которые расклеивали дацзыбао, разоблачали свое начальство.) И даже папин шофер по собственному почину сопровождал отца. Тот просил: “Не ходи за мной”. – “Нет, я должен обеспечивать вашу безопасность”. На расстоянии, тихонечко, а все-таки ходил. Дома отец с удовольствием рассказывал, где был, с кем встретился, как заглянули в какую-то харчевку, посидели, по душам поговорили. “Никто не знает, что это я!”

Реальные сложности, предвестники трагической развязки, начались, наверное, с января 1967 года. Отцовского начальника, руководителя Северо-китайского бюро КПК, стали обвинять в каких-то идеологических прегрешениях, и организация, выступившая в защиту этого начальника, часть обвинений попыталась перекинуть на отца, хотя все знали, что он фактически не решал ничего. Большинство было против преследований Ли Лисаня, но активисты вызвали отца – как бы на собеседование. От вопросов быстро перешли к обвинениям в его адрес: он связан с советской стороной, мама моя – советская шпионка, он – пособник. Затем поменяли версию, стали говорить, что он шпион, мама – пособница. Начали таскать его по митингам (слава богу, в наш университет не привозили). Это, конечно, отцу давалось очень тяжело. Потому что, если речь заходила о его ошибках в прошлом, да и в настоящем, он был готов их признать. Но обвинения в шпионаже и ревизионизме он отвергал начисто. Что вызывало новый шквал обвинений.

Знаю я все это по позднейшим маминым рассказам. Папа никогда не заговаривал со мной на эту тему, а я не расспрашивала. Может быть, срабатывал юношеский эгоизм, желание оградиться от всего

неприятного, не думать о нем. А может, отец успокаивал сам себя и даже верил, что все уладится, ведь в Китае политические кампании быстро вспыхивают и столь же быстро гаснут. И эта надежда – подсознательно – передавалась мне. Тем более что по поводу мамы еще в 1961-м, в 1962 году провели негласное партийное расследование: связана ли она с советским посольством, и, по словам отца, не выявили никаких результатов. Однажды разобрались, разберутся и в другой.

Да и вообще общались мы тогда с отцом обидно мало. Не только потому, что все эти годы я жила по большей части в институте, но и потому, что у нас произошел семейный конфликт на революционной почве. Было это еще до нашей поездки в провинцию. Отец, как секретарь Бюро ЦК, обязан был написать, как говорили, самокритику. То есть дать обзор всей своей работы, обнаружить “черные корни”, признать грехи. Однажды, когда дома были я, Ляля и наш китайский двоюродный брат, который с детства воспитывался у нас, отец позвал всех в гостиную, мы чинно сели, и он говорит: “Вы у нас хунвейбины. Юные активисты революции. Вы всё знаете, всё понимаете. Я хочу прочитать вам, что я написал. А вы скажете – этого достаточно или нет. Смогут ли дать хорошую оценку моей самокритике”.

Мы очень серьезно стали изучать, что он там написал. И так же серьезно начали делать ему замечания. Тут чего-то не рассказал, тут обошел стороной. Но, видимо, больше всего отца разозлила претензия, что он “не указал на классовые корни своих ошибок”. (Тогда все были помешаны на классовом происхождении.) Папа взорвался, стал на нас кричать. Я поняла позже, что у него уже и так нервы были на взводе, а тут еще мы со своими поучениями. Но тогда мы тоже были обижены: вроде по-доброму хотели ему помочь. Мы же знаем, к чему хунвейбины, революционные массы, придираются. А он почему-то на нас рассердился. Мама прибежала, встала между нами, вынуждена была чуть ли не разнимать.

Совсем страшной – и одновременно трагикомичной – была домашняя война дацзыбао. Мы спорили с помощью цитат из Мао. Наклеивали на листы слова кормчего, которые, как нам казалось, изобличали отцовскую неправоту, вывешивали в папином кабинете. Он их срывал и клеил другие цитаты.

Но это всё были мирные споры, между своими. А вовне нарастала вакханалия. Дальше стали выискивать так называемых предателей. Под подозрение попали все, кто прошел через гоминьдановские тюрьмы: они же не просто так уцелели, наверняка их пощадили за предательство, за измену делу партии. Отец, слава богу, в гоминьдановской тюрьме не сидел, ему хватило советской. Но так как в 1920-е – начале 1930-х годов он был связан практически со всеми сидельцами, к нему потянулись группы хунвейбинских следователей, которые приходили и требовали, чтобы он рассказывал “всю правду”.

Он держался мужественно, старался говорить аккуратно, чтобы никого не подвести, – в то время это было очень смело. Но ему это далось тяжело, он слабел. Мама вспоминает, что в начале 1967 года отец ей сказал: “Лиза, если бы это было в Советском Союзе, нас бы уже давно арестовали”. Мама на него посмотрела внимательно и поняла, что он действительно допускает такой поворот событий, хотя время арестов еще не пришло, спецслужбы особо не вмешивались, в основном все делалось руками масс.

Когда я приезжала домой, он лежал у себя в спальне. Иногда выйдет, что-нибудь поест, опять ляжет. Один раз я ему помогла переписывать какие-то письма наверх. Кому он только ни писал – больше всех Чжоу Эньлаю. Но все равно с весны 1967 года у нас дома постоянно проходили обыски – к счастью, в мое отсутствие. Приезжали не только из отцовского учреждения, но и из каких-то других подведомственных организаций. Любая официальная институция могла тогда под лозунгом революционной необходимости явиться к кому угодно и начать обыск. То есть царил полный беспредел. Хуже всего было, кстати, когда приезжали рабочие. Они действовали грубо, всюду рылись, искали шпионские инструменты, средства связи.

Мама вспоминала, что однажды заехали на грузовиках прямо во двор. Входят группой, велят родителям сидеть в гостиной и ждать результатов обыска. Обнаружили книжки на русском языке, услышали, что мама с отцом переговаривались по-русски. Приказали: “Не смей говорить на языке ревизионистов”. Мама не выдержала: “На языке ревизионистов? А на каком языке Ленин говорил?” Тут они уже не могли ничего возразить.

Другая группа рабочих добралась до кухни и обнаружила там кухонный комбайн, который маме одна ее коллега привезла из Чехословакии. В Китае ни у кого таких комбайнов не было.

– А! Нашли. Рация.

К счастью, повар был на кухне.

– Вы что, ребята? Какая рация?

Они возмутились:

– Ну как же! Что это, если не рация?

– Так это же просто мой кухонный инструмент. Я на нем работаю.

– Можешь поклясться, что это не рация?

– Слово коммуниста даю. Ли Ша даже не умеет обращаться с комбайном. Только я один им пользуюсь.

В общем, поверили. Но зато забрали некоторые игрушки. Например, нам в свое время привезли гэдээровскую куклу с закрывающимися глазами. А поэт Эми Сяо, который ездил по приглашению Пабло Неруды в Чили, подарил мне куклу в чилийском наряде. Тоже с закрывающимися глазами. Рабочие вытащили этих кукол из шкафов, сказали: “О, буржуазные какие”. И как доказательство полной развращенности Ли Лисаня и его семьи увезли.

Но куклы что, они же мертвые. А вот наш фокс-терьерчик Крошка... В одном из дацзыбао напишут, что семья Ли Лисаня полностью обуржуазилась: завела для домашней собачки отдельный матрасик и поит ее молоком! В то время как народ живет впроголодь, экономит на всем. Обвинение грозило папе, да и всем нам такими последствиями, что пришлось вывезти Крошку и оставить возле дороги, чтобы ее кто-нибудь подобрал. Как мы рыдали...

Все шло по нарастающей и достигло апогея в конце мая того же 1967-го. Я была в институте, сидела на одном из бесконечных общих собраний. И вдруг мне сзади передают листок: "Ли Инна, ты это читала?" А тогда производство листовок было уже поставлено на поток, их даже печатали в типографиях. Смотрю: это сообщение о встрече массовых революционных организаций отцовского учреждения с одним из руководителей группы по делам "культурной революции". Не главным, но весомым. И руководитель говорит борцам: вы ошиблись в направлении удара. Вы направили острие борьбы против своего первого секретаря. А должны были направить на Ли Лисаня. Они возражают: он уже мертвый тигр. А тот настаивает: нет, он живой тигр. Он советский шпион. И жена у него советская шпионка. И вы должны ими заняться.

Тут я, честно говоря, похолодела. Потому что это уже был готовый приговор, причем на столь высоком уровне, что никто оспаривать не будет. Выше группы по делам "культурной революции" никого нет. Наутро был сделан следующий шаг. У нас в институте постоянно работали огромные громкоговорители, со времен подготовки к войне с американцами; их разослали по всем учреждениям и кампусам на случай воздушной тревоги. И вот "большевики" установили такой громкоговоритель на главном корпусе, направив звук в наше окно и врубив на полную мощность. Слышу, мое имя называют: дочь главного ревизиониста, антипартийного элемента Ли Лисаня, Ли Ин-на, признавайся в своих преступлениях, разоблачай родителей, иначе почувствуешь на себе железный кулак диктатуры пролетариата!

Я была в своей организации на хорошем счету; своих все старались защищать, но силы могли оказаться неравными. Ко мне приходит одна девочка, говорит: "Слушай, сейчас очень опасная ситуация, они могут тебя похитить и держать в заложниках. Давай, переезжай из общежития к нам в штаб". И последние пару недель на свободе я жила в этом здании, через дорогу. И Аллу тоже позвала к себе. Потому что дома складывалась очень тяжелая, просто невыносимая ситуация.

Дело в том, что в это время была создана новая организация (они же тогда размножались делением). Возникла она после встречи с руководителем группы по делам "культурной революции", и вошли в нее массовые организации, подведомственные Северному бюро ЦК. Это и город Тяньцзинь, и Внутренняя Монголия. И тамошние университеты. Свежая молодая сила. И вот представители новой организации явились

к нам домой – в мое отсутствие; знаю о происходившем только по рассказам мамы. И заявили, что они всё теперь берут под свой контроль. Все контакты мамы и отца с внешним миром. Запретили родителям подходить к телефону. Сами сели у ворот, на страже. Правда, в дом не заселялись, караулили у ворот, сменяли друг друга вахтовым методом. Отец заявлял им, что болен и не может вставать. Тогда они садились у кровати и зачитывали ему цитаты Мао Цзэдуна. И маму тоже заставляли слушать чтение цитатника – отдельно от папы; ей занималась другая группа. Один даже по-русски говорил. Приходил с цитатником Мао Цзэдуна на русском языке и то сам читал ей вслух, то заставлял читать вслух ее.

Наступил июнь. Однажды мы с сестрой приехали из общежития – и вдруг почувствовали, что это уже не наш дом. Не знаю, как объяснить это ощущение... словно мы тут чужие. Зашла я к отцу, поздоровалась; он лежит в халате, не встает. Коротко побеседовали. И, прощаясь, он вдруг встал, обнял меня и попросил: “Позвони тете Гране, скажи, пусть к нам не приходит”. (Тетя Граня – мамина подруга, Агриппина Ефимовна, бывшая жена китайца, к тому времени они развелись.) Ну, я хмыкнула. Мне не хотелось, честно говоря, ввязываться во все эти дела. У меня было какое-то отторжение всего этого. А он ушел к себе. И оказалось, что это была наша последняя встреча.

На другой день его увезли непонятные люди – хунвейбины из соседнего города Тяньцзиня, который тоже подчинялся Северному бюро ЦК. Мама, конечно, ничего не могла поделать, а они не сказали, куда увозят. Потом выяснилось, что руководил группой тяньцзиньских студентов не преподаватель, а кадровый работник городского отделения госбезопасности. Но если спецслужбы и были задействованы в этом сюжете, то косвенно, под прикрытием массовых организаций. Человек из госбезопасности запер отца на какой-то частной квартире в Пекине. Причем, говорят, делал он все это именем группы по делам “культурной революции”. Сказал хозяевам: мы должны поддержать здесь одного человека. Поселили хунвейбинов с ним. Отвезли один раз на митинг борьбы, передав под расписку сотрудникам папиного учреждения. И маму в тот день доставили из дома на этот митинг.

Мама вспоминала, что когда отца брали в СССР, в день Красной армии, то не хватало воронков, и папу пешком под конвоем провели с улицы Горького на Лубянку, по Кузнецкому Мосту. А в Пекине перевозили на легковушках, никакого пешего хода.

После митинга, где они стояли рядом и у них висели на шеях дощечки с обвинениями, родителей посадили в одну машину. Мама надеялась, что их вместе отвезут домой. Но на полпути ее высадили, и отец успел ей сказать только два слова: “Береги себя”.

Таким было их последнее свидание.

Через день ему (как я думаю) помогли уйти из жизни. Потому что нам впоследствии сказали, что он принял большую дозу снотворного, и

даже запустили слух, что снотворное подсунула ему мама, приказав от имени советской разведки покончить с собой. Но хотя у папы действительно был с собой пузырек с лекарствами (он с 1952 года, после всех политических своих неурядиц, не мог спать без снотворного), таблеток в пузырьке было немного – и больше быть просто не могло. Потому что одновременно с началом “культурной революции” приняли постановление ЦК, чтобы пекинская больница выдавала своим высокопоставленным пациентам снотворного не больше чем на неделю, а получить их пациент лично не мог. За лекарством заезжал либо секретарь, либо горничная, они забирали таблетки под расписку. Каждый вечер кто-то из obsługi давал отцу предписанную дозу. Сам он вещи при аресте не собирал, ему не позволили, мама при всех вручила ему пузырек, в котором осталось совсем немножко лекарства. А главное, после задержания он все время находился под надзором. Надсмотрщики уверяли, что ненадолго отлучились в другую комнату, потом позвали его обедать. А он никакой. Когда его доставили в больницу, он уже был мертв.

Ему не было и шестидесяти восьми.

Мама позже говорила, что если бы он чуть-чуть еще продержался на воле, дотянул до массовых арестов, то, скорее всего, уцелел бы. Потому что в отличие от ГУЛАГа в китайских тюрьмах времен “культурной революции” большая часть людей выживала. Мучилась, страдала, но выживала. И тюремщики внимательно следили, чтобы ничего не произошло. А у этих беспредельщиков никто ни за что не ручался.

Как бы то ни было, отец оставил записку на имя Мао Цзэдуна с единственной просьбой во всем разобраться, потому что “моя жена, мои дочери ни в чем не виноваты”. Но узнали мы о его смерти много-много времени спустя.

Как только его не стало, тут же и нас цап-царап. Отца увели 18 или 19 июня, в первой половине 22-го он ушел из жизни, а маму забрали в тот же день, только во второй его половине. Кстати, ее доставили сначала не в тюрьму, а на работу. Готовились провести еще один митинг борьбы, а до того устроили что-то вроде репетиции, в небольшой группе, типа личного допроса: объясните, как вы докатились до такого позора. Но внезапно митинг отменился, за мамой приехали из госбезопасности. А на другой день, 23 июня, взяли меня и Аллу.

Возможно, если бы я не поселилась в штабе, они пришли бы и за нами уже 22-го, и тогда совместный митинг состоялся бы – жена преступника, дочь преступника, советские агенты, кайтесь. С ужасом думаю об этой возможности: унижение бывает страшнее ареста и приговора. Спустя годы, снова встретившись и всё в деталях обсудив, мы выясним, что испытали одинаковое облегчение, переступив порог

тюрьмы. Мы за решеткой, а не в руках хунвейбинов – это значит можно жить.

Глава 5

Тюрьма и воля

1

23 июня 1967 года мы с Аллой сидели в штабной комнате. Появляется один из руководителей “меньшевиков”, наш аспирант, слегка востроенный: “Ли Инна, приехали люди. Хотят поговорить с тобой об отце. Спускайся давай”. Ляля остается в комнате. Он ведет меня прямо к выходу, где уже поджидает человек в штатском. Аспирант бормочет: “Они решили, что тебе лучше будет разговаривать у них”. А я ж такая дура была, искренне верю: “Ну, у них, так у них”.

Машина, как сейчас помню, советская, марки “Победа”. В ней уже сидит какая-то женщина, я оказываюсь на заднем сиденье, рядом со мной садится человек в штатском, прямо как в кино, когда показывают арест героя. Но я все еще не допускаю мысли, что меня арестовали. Машина – вжик, трогается, и через некоторое время мы въезжаем в незнакомый переулок; здание, огороженное высокой стеной – как кремлевская, только серая. Возле проходной ко мне подходит молодая женщина, быстро (я даже не успела понять, в чем дело) ощупывает мою одежду, проверяет карманы, носки; все делает профессионально. Я в ступоре, пытаюсь понять, что происходит...

За стеной, как позже выяснилось, располагалась старинная тюрьма. Ее сейчас снесли, потому что стояла она практически в городской черте. Устроена она была необычно. В круглой центральной зале сидел дежурный. От нее лучами отходили коридоры с камерами; коридоры при необходимости можно было отсечь решетками. (Я видела в разных фильмах, как коммунисты-революционеры томятся в гоминьдановских тюрьмах, – очень похоже.) Внутри двора вдоль здания тянулась еще одна стена, чуть пониже, чем наружная; территория была нарезана на мелкие дворiki. Нас для начала поместили в один из таких двориков – меня и охранницу, которая проводила личный досмотр.

Через день-другой после ареста ко мне пришли какие-то суровые мужики. (Они были не в форме. В том месте вообще никто форму не носил.) И заявили: твои родители – советские шпионы. И поэтому сейчас ты должна писать все, что знаешь, обо всех связях с иностранцами. Кто, когда и зачем приходил к вам; к кому, когда и зачем ходили вы.

Сколько вам и кто платил. То есть они подозревали, что все иностранцы получают плату, не знаю, по каким каналам и в какой форме, от советских ревизионистов.

Я решила писать все как есть, потому что я за собой, родителями и сестрой ничего предосудительного не знала. Сначала стала подробно писать, с какими иностранцами мы общались, с кем танцевали. Они почитали, говорят: хватит, о танцах не надо. Пиши о родителях. Какие у них были друзья, включая китайских знакомых. Вспоминай всех.

Я написала, как мама переходила из советского гражданства в китайское, как я переходила. Но, видимо, гражданство их тоже не особо волновало.

Позже я узнала, что в эту же тюрьму, двумя часами позже, привезли Аллу и поселили в точно таком же дворике: старый дом, галерея, неширокая, но открытая, даже деревья растут. А Ляля ведь только-только вышла из школы, совсем молоденькая. У нее с женщиной-охранницей сложились хорошие отношения, Ляля вызывала у нее материнские чувства.

Я описываю судьбу Аллы задним числом: на самом деле первые недели две я ничего не знала о ней. Пока однажды – прошу прощения за подробности – меня в сопровождении надсмотрщицы не повели в тюремный туалет, расположенный в отдельном домике. Дело было под вечер. Прохожу 20, 30 метров – и вдруг ощущение, что кто-то мне пристально смотрит в спину. Оборачиваюсь и вижу: Ляля сидит у входа в свою комнатку (нам перед сном разрешали посидеть, подышать воздухом). Она смотрит на меня, я смотрю на нее. Охранница меня одернула: “Проходи скорей, не задерживайся”.

На следующий день следовательница сказала: “Ты теперь знаешь, что сестра здесь. И если будешь себя хорошо вести, может, мы вам позволим поселиться вместе”. Обманули, конечно. И все же еще раз два мы пересекались с Лялей: нас водили в баню не вместе с заключенными, а с персоналом, и мы оказались в раздевалке рядом. У Ляли своя конвоирша, у меня своя. Говорить нельзя. Но пока раздевались, складывали вещи, можно было молча улыбнуться друг другу, даже руку пожать. Кстати, только после первого похода в баню я сообразила, что нахожусь в самой что ни на есть настоящей тюрьме: в момент ареста нас не провели через центральную залу, мы шли в обход, и теперь я увидела запирающиеся коридоры, камеры и напугалась ужасно. До сих пор было ощущение какого-то временного задержания, затянувшейся проверки и спецобщения: комната была даже просторнее, чем в кампусе. И еда не хуже, чем в институте. И расписание вполне институтское. Имелся даже обеденный перерыв, можно было поспать (все китайцы спали тогда после обеда). А тут как вступило: это арест, это тюрьма!

Так мы провели в тюрьме первые четыре месяца.

Однажды в конце октября я прикорнула днем. Вдруг надсмотрщица, с которой мы вполне сошлись, даже на какие-то бытовые темы перед отбоем разговаривали, меня будит. Вижу, лицо у нее злое, напряженное.

– Вставай. Там дело к тебе есть. Одевайся и выходи.

Подчиняюсь. Меня выводят из тюрьмы, сажают в “Победу”. Всё как в прошлый раз, только в машине сидят люди в форме, то ли военные, то ли госбезопасность. Тогда все люди в погонах одевались одинаково: носили зеленую военную форму с красными звездами, без знаков различия. Приказывают достаточно грубо:

– Проходи, садись. Мы сейчас тебя повезем в другое место. Там тебе будет удобней писать показания.

Сажу, смотрю в незатененное окно. Мы явно едем в сторону Великой Китайской стены, где я уже не раз бывала и с детства запомнила: довольно далеко от Пекина есть резкий поворот направо и щит с надписью “Въезд для иностранцев запрещен”. Это меня всегда интриговало. Что ж там такое таинственное? Почему туда въезд запрещен? Тем более иностранцам. И почему дорога проселочная, не асфальтированная? А тут вжик, и мы сворачиваем на эту самую дорогу.

Случайно заглядываю в зеркальце водителя (водитель тоже в военной форме), ловлю его ненавидящий взгляд. Я ни с чем подобным не сталкивалась – ни до, ни после, поскольку, слава богу, не вызываю ненависти у людей. Я внутренне содрогнулась и поняла, почему моя надсмотрщица так посуровела сегодня утром: значит, я приравнена к врагам народа и положение мое более чем серьезно.

Доставили нас в знаменитую тюрьму Циньчэн, построенную в конце 1950-х с помощью советских специалистов; тогда в Китае в ходу было выражение “сто пятьдесят шесть объектов советской помощи”, а этот был сто пятьдесят седьмой, засекреченный. Первыми ее насельниками стали военные преступники, которые сотрудничали с японцами. Но вскоре, к 10-летию КНР, была объявлена амнистия, и в спецтюрьме осталось мало народу. Изредка сажали антипартийных деятелей, но это всё были единичные посадки. А тут сразу произошло массовое заселение.

...Открываются большие серые ворота, мы въезжаем. Машина останавливается у невысокого здания. Меня проводят. И буквально на мгновение я остаюсь одна. Сопровождающие куда-то исчезают. Я стою в этой комнате, озираюсь. И тут распахивается дверь, входит женщина с очень злым лицом и резким, пронзительным голосом: “Объявляю: вы арестованы”.

Протягивает мне постановление: “Подписывайте”.

Я не успела прочесть, не рассмотрела, чья подпись, просто, как во сне, что-то черкнула. А мама (о чем я узнаю много лет спустя) ухитрилась и подпись разобрать, и прочесть бумагу. Меня провели в отдельное помещение, велели снять все свое, одели в китайскую тюремную одежду. А она по традиции черная и довольно тонкая – хорошо, что тогда было еще не холодно. Широкие штаны на завязочках и традиционная размахайка с застежкой.

Повели по внутренней территории. Что-то вроде улицы, по бокам которой стоят кирпичные дома этажа в три, тоже отделенные от внешней ограды и от тюремного здания внутренней стенкой; в домах большие окна, довольно веселенький вид. Я начала успокаиваться, думаю: может, ничего еще, обойдется? Робкая надежда рухнула, когда меня втолкнули через калитку внутрь тюрьмы. И погнали по лестнице на третий этаж.

У них, на мое счастье, случился прокол. На втором этаже, где начинается каменный коридор, стояла табуретка. И на табуретке я увидела Аллины вещи: кружку и томик Мао Цзэдуна – единственное, что разрешалось брать с собой. Значит, Аллу привезли еще до меня. И теперь я даже знала, в какой камере она находится, ближе к лестнице. А меня увели на третий этаж, в глубину коридора, вторая камера от конца.

Тут до меня дошло, что веселенькие большие окна – это просто торец коридора, достаточно светлого. А по левой стене – ряд камер с железными решетками и деревянными дверями. И когда за моей спиной раздался лязг затворов решетки, я успела подумать: “Боже мой! Я всю жизнь была такой хорошей дисциплинированной девочкой. Папа-мама меня холили, хвалили. В школе все учителя мне радовались. И даже в китайском институте я была отличницей. Могла ли я подумать, что я в тюрьме окажусь?”

Важная часть жизни закончилась, началась другая, непонятная.

3

Мне в руки сунули белый кусочек ткани с вышитыми цифрами. По-моему, 88. Сказали: “Вот твой личный номер, не вздумай забыть, теперь это будет твое имя. Когда будут спрашивать, кто ты, отвечай: «Я восемьдесят восемь»”. Однако мне им пользоваться не пришлось, так что я не точно помню, какой у меня номер был. Может, 87. А может, 89.

Что собой представляла моя камера? Я сравнила потом свои впечатления с рассказами тех, кто прошел через другие тюрьмы: кто-то в городской сидел, кто-то в провинции. Один из моих китайских старших братьев в юности был очень активным, но сначала вступил в гоминьдановский комсомол, что ему припомнили во время “культурной революции”. Его арестовали в Хунани, пришили обвинение в

контрреволюционной деятельности, посадили, даже занесли в расстрельные списки (потом список сократили, и он остался жив). Он сидел в гораздо худших условиях, чем я.

Вообще, с точки зрения бытовых условий доставшаяся мне тюрьма была едва ли не лучшей в Китае. Размер камеры 8-9 квадратных метров. Довольно высокий потолок. И на самом верху окно зарешеченное, выходящее во внутренний двор. В камере очень низкий деревянный топчан, с тоненьким-тоненьким, но все-таки матрасом. Подушку не дали, но кинули какие-то мои вещи, нижнее белье, я их подкладывала под голову. Одеялко дали. И был даже санузел: угол треугольничком огорожен, там маленький унитаз, без деревянного стульчака, и маленький рукомойник. Единственное, что было невыносимо, – на тебя всегда была направлена гляделка с раструбом, одна во входной двери, другая в стене возле туалета. Солдаты взад-вперед курсировали по коридору, посматривали в глазок.

Мне, молодой девушке, это было очень, очень неприятно. Но я знала примерно, сколько занимает размеренный путь из конца в конец. Как только солдат пройдет мимо моей двери, я быстренько в туалет и стараюсь закончить, пока он не вернулся назад. Не всегда удавалось, но я себе сказала: “Чего я стыжусь-то? Это ему стыдиться надо. Не я же подглядываю. А когда меня выпустят (я все-таки надеялась, что выйду рано или поздно), мы с ним либо не увидимся, либо я его не узнаю”.

Первая ночь далась мне тяжело, потому что электричество они не гасили, а я не привыкла спать при свете, даже днем глаза прикрывала полотенцем. (Тогда еще не было наглазников.) И тут тоже попыталась прикрыть лицо.

Немедленно вошел охранник.

– Ты чего делаешь?

– Сплю.

– Не смей прикрывать глаза одеялом, иначе отберу.

Переворачиваюсь на другой бок, лицом к стене, опять – тук-тук-тук.

– Что делаешь?

– Повернулась на другой бок.

– Спать можно только на одном боку, лицом к двери.

Всю эту ночь они меня дергали. И орали.

Днем тоже спать не разрешали. Мама говорит, что позднее, когда мы с Аллой уже освободились, начались мелкие поблажки, заключенным разрешили дневной отдых. А тут рано утром, в шесть часов, колокольчик – побудка, в десять вечера колокольчик – отбой.

Но опять же, я привыкла в шесть вставать. Так что самое тяжелое было психологическое давление абсолютной тишины. Молчание с утра до вечера. Тем более что первый месяц даже на допрос не вызывали. Может, специально, чтобы расшатать психику. И еще мучило то, как унижительно выдавали еду. Окошечко для мисок находилось в самом низу двери, и, чтобы подхватить пищу, ты должна была присесть на

корточки и ждать, пока снаружи откроется решетка, распахнется дверка, и тебе, как собаке, сунут кормежку. И чтоб быстро!

При этом я не голодала. Мама, судя по ее рассказам, первый год совсем не наедалась; не знаю, почему, может, ей давали урезанный паек, а может, она просто не привыкла к подобной пище. Она же все-таки до ареста продолжала дома питаться, и так, по-русски, нормально. Мне же институтская, деревенская еда была привычна, а тюремная мало от нее отличалась – я даже помню, как впервые нам дали пампушки из белой муки...

Среди охранников один выделялся своей грубостью. Я называла его Паровоз, а мама, как потом выяснилось, окрестила его Трубокуром. Он все время курил вонючую трубку, орал и резко проталкивал еду. Как-то раз я не удержала миску с кашей, она вылилась. Он приказал: “Собери и съешь!” Деваться было некуда: соскребла с пола, съела. Но встречались и неплохие охранники, даже женщина, – она все чаще стала появляться, – которая явно сочувствовала заключенным. Я помню, в первый месяц покрылась какими-то пятнами, прыщами (скорее всего, на нервной почве), но не понимала масштабов бедствия, зеркала-то нет. Она вошла, спрашивает:

– А что у тебя на лице? Болит?

– Не болит, – отвечаю.

– Если болит, тут врач есть, обращайся.

Даже такие простые слова становились настоящим утешением. Случалось встретить сочувствие и со стороны солдатиков-конвоиров, хотя и реже.

4

Что еще очень мучило, так это полное отсутствие интеллектуальной жизни. Потому что сначала мне позволили читать только маленькую красную книжечку, цитатник на китайском языке. Через месяц-полтора стали давать главную партийную газету “Жэньминь жибао”. Сейчас в это поверить трудно, но то было для меня огромное счастье, настоящая отдушина. Газету, которая выходила тогда на шести полосах, нам приносили вечером. Чтобы растянуть удовольствие, я после каждого приема пищи позволяла себе прочесть по две полосы: вечером, утром и в обед. Потом старый выпуск забирали и приносили новый. Такое это было наслаждение... Я даже грешным делом думала: господи, была бы хоть одна маленькая этажерочка с книжками, я б тут сидела и сидела. Книг нет! Остальное все терпимо.

События в Чехословакии меня особенно потрясли. В “Жэньминь жибао” было опубликовано выступление Чжоу Эньлая на приеме в румынском посольстве. (Румыния была единственной страной соцлагеря, которая в то время поддерживала контакты с КПК в

частности и Китаем в целом; Албания из соцлагеря была уже исключена. Мао Цзэдун назвал Албанию маяком социализма в Европе, а народ добавил: маяк социализма, который горит на китайском масле.) И Чжоу Энлай резко выступает против вторжения советских войск в Чехословакию. Боже мой, какой тон! Звучат слова “социал-фашизм”, “социал-империализм”... На следующий день появились фотографии танков на улицах Праги, людей, которые пытаются им помешать...

Чтение главной официальной газеты стало для меня едва ли не единственным интеллектуальным развлечением и формой пусть заочного, но все-таки общения. Дневники я вести не могла: бумагу нам выдавали по счету, только чтобы писать показания, оставшиеся чистые листы пересчитывали и уносили. Прогулки тоже были явлением нечастым. Первую прогулку разрешили месяцев через шесть после посадки. Заключенных выводили камера за камерой, чтобы они между собой не пересекались. Идет заключенный, за ним конвоир; как только арестант скрывается за поворотом, конвоир дает отмашку, выводят следующего, чтобы они не увидели друг друга, даже спины. Сама прогулка тоже одиночная, внутри специально построенных крошечных двориков с высокими стенами. Один дворик – один заключенный. Над ними выстроена терраса, по которой передвигается конвоир. Он видит всех, мы видим только его. Слышим лязг засовов, сознаем, что заперты, но видим все-таки небо и дышим воздухом.

5

Зная наверняка, что Ляля находится здесь же, в этой самой тюрьме, я предполагала, что и мама сидит вместе с нами, а может, кто знает, и отец – нам же не сказали, что его больше нет... Первые месяцы тюремщики меня, кажется, недолюбливали и часто давали “наряд” – например, мести пол в коридорах, считая это неким наказанием. А я, наоборот, испытывала радость! Можно было выйти наружу, подвигаться, посмотреть по сторонам. Я шла, согнувшись в три погибели, а за мной неотступно, шаг в шаг, следовала надсмотрщица. Я исподтишка поглядывала на двери камер и гадала, а в какой же из них моя мама. Может быть, на этом этаже...

Тем более что в самом конце коридора, устроенного буквой “П”, стоял огромный вышитый экран-ширма, как в китайских дворцах. Рама красного дерева, роскошная вышивка. За этим экраном явно была скрыта еще одна камера. Думаю, кого это там отгородили, кто там сидит? Может, мама? Она же все-таки иностранка, прячут от лишних глаз. Как выяснилось потом, мама сидела в другой камере. Но тоже выходила на уборку, и тоже видела этот экран, и задавалась тем же вопросом: кого там спрятали от лишних взоров?

Наряды прекратились в одночасье. Почему – не знаю. Может, вышло какое-то новое распоряжение. Мне было грустно – так хотелось выбраться из камеры! Чтобы хоть как-то двигаться, я ходила по камере наискосок, удлиняя свой путь, и стала замечать, что на полу остаются следы, целая тропинка, а по сторонам нарастает пыль, похожая на синий пух. Может, такой был грибок... Наконец, досмотрщик открыл, посмотрел, выругался: “Ты чего тут такую грязь-то развела? Убрать надо”. Говорю: “У меня нечем”. – “Сейчас дам”. Мне выдали широкую тряпку. Ну, я протерла, избавилась от этой то ли пыли, то ли грибка...

А первые месяцы нас даже в баню не водили. Правда, когда повели, это было столь же радостно, сколь и унижительно. Запускали поодиночке, никаких встреч, никаких пересечений. В предбаннике полагалось бросить все вещи на пол; всякий раз, когда меня приводили, там уже валялся ворох чужих одежд. Потом проходишь внутрь – тоже как в отдельную камеру. Тебя – щелк, и запирают, но остается окошко, за которым ходит надзирательница, следит, чтобы все было как надо. Я люблю все делать неторопливо, но времени давали в обрез, полагалось стремительно помыться грубым мылом и голову вытереть насухо. Ну, хоть вода горячая, уже спасибо. Я не успевала как следует себя обиходить. В результате у меня образовались, как я это называла, “археологические наслоения”.

Зеркал в нашем быту, повторюсь, не было. Даже стригли без зеркал. Я впервые увидела свое отражение, когда нас с Аллой выпустили, в 1969 году, – негласно передали в руки сотрудниц отцовского учреждения под ласковый домашний надзор. Они удивленно спросили: “Почему ты стрижешься под мальчишку? Больше так не стригись”. Как будто я могла выбирать себе прическу...

6

В конце концов стали меня вызывать на допросы; окна комнаты выходили на горы. Кстати, теперь в этих горах у моего сына Димы дача; когда едешь к нему, видишь тот самый указатель перед поворотом. Человека иногда судьба водит по одним и тем же местам. И в снах тоже так бывает: они меня часто приводят примерно в одно и то же место...

Но это в сторону.

Мама говорила, что в советских тюрьмах во время допроса заключенных сажали на табуретки. А здесь сиденья были в виде бочонка, круглые, деревянные, тяжелые. Видимо, чтобы заключенный не мог схватить за ножку и запустить в следователя. Поначалу напротив меня сидела солидная компания, позже допрашивающих стало поменьше, но все равно минимум три человека. Один был постоянный следователь в штатском, к нему, сменяя друг друга,

присоединялись военные. Опять же спрашивали о контактах родителей. Пришлось заново писать одно и то же.

Меня они пугали тем, что могут отдать в руки хунвейбинов. Маму страшили карцером, угрожали: “Мы вам хорошенькое местечко найдем”. Но ни меня, ни ее не били. Хотя могли помучить вечерним допросом: после ужина, когда уже хочется расслабиться и ждешь отбоя, тебя выдергивают и гоняют по одному и тому же кругу вопросов. Меня так таскали всего два – три дня подряд часа на четыре, не больше, а маму значительно чаще, и до утра, на износ. А потом обо мне как будто забыли и стали крайне редко вызывать, и это было непонятное существование. С одной стороны, надежда: ты же им уже не нужна, а вдруг выпустят. Бывало, прислушиваешься, шаги, открывают какие-то камеры, может, амнистия вышла, сейчас и до тебя очередь дойдет. С другой – наоборот, нарастающий страх. Слышны ружейные выстрелы (впоследствии я узнала, что там рядом расположен полигон), в голову лезут неприятные мысли: не потащат ли на расстрел без суда и следствия? С третьей – мне не сумели ничего пришить, но запросто могут отправить в горы, в глухую деревню, где я останусь до конца жизни. И со мной никто не будет общаться, я буду как пария, как клейменная.

И никакой надежды на справедливый суд! Мы уже привыкли жить в эпоху “культурной революции”, когда суд-то был революционный, народный, массовый. А обычные суды вообще не работали.

7

Внутренний двор выходил на теневую сторону. Редко-редко можно было насладиться тем, как с западной стороны падали солнечные лучи, даже увидеть само солнце. Правда, оно быстро уходило. Летом открывали окна, и тогда можно было видеть звезды, порой даже луну. Но потом на зиму окна опять закрывали, и тяжело было пережить это расставание с небом.

Насекомых в тюрьме не было, поскольку имелись сетки от комаров, а мух к тому времени в Китае уже истребили. Клопов тоже не было – в отличие от институтского общежития, где с ними пришлось познакомиться. Зато птички были какие-то. Даже репрессированные воробышки появлялись. И были деревья, которые к весне начинали оживать.

Однажды, первой весной моего заключения, меня вывели на прогулку. Во дворе росла травка, тополя пробились самосевом из-под покрытия, невысокие такие. И на них листики совсем нежные, свежие. Я сорвала один листик и спрятала себе в рукав: все-таки весна, воля. Охранник тут же заметил. “Чего прячешь?” Говорю: “Ничего”. –

“Достань. Ты в рукав что-то положила. Камень был?” – “Нет, камня не было”. – “Брось”.

Так и лишили меня моего листика.

8

“Культурная революция” схлынула так же внезапно, как когда-то началась. Весной 1969 года прошел IX съезд КПК, который, с одной стороны, канонизировал ее завоевания, возвел Мао в ранг непререкаемого авторитета, с другой – притормозил порождавшие ее политические процессы. Это было огромное счастье, потому что объявили новую политику по отношению к так называемым воспитуемым детям. То есть детям, которые сели заодно с родителями, кто в тюрьмы, кто в коллективные – не знаю, как перевести – места заключения, именуемые “курсами по изучению идей Мао Цзэдуна”. И мы с Аллой попали в эту категорию (в нашей тюрьме было трое так называемых детей из высокопоставленных семей: мы и еще одна женщина, постарше нас).

В августе 1969-го, через два года после ареста, наступил час моего освобождения. Совершенно неожиданно. Я читала, что писала “Жэньминь жибао” о “воспитуемых детях”, но не очень-то применяла к себе. Вдруг вызывают как бы на допрос и объявляют: “Согласно такой-то установке ЦК, сейчас мы тебя освободим. Но учти, что, когда тебя арестовывали, это было правильно. А когда сейчас освобождают, это тоже правильно”.

К тому моменту я, конечно, уже догадывалась, что у родителей все плохо. Но только теперь получила официальное подтверждение: “Они, – заявили мне, – враги народа. А вы с сестрой входите в другую категорию противоречий”. Это в свое время Мао Цзэдун придумал, что есть две категории противоречий. Первая – противоречие между народом и его врагами. Вторая – противоречие внутри народа. “Вы с Аллой – это противоречие внутри народа, что поправимо. А дальше, как себя вести, уже смотри и думай”. Типа надо размежеваться с настоящими-то врагами. И тут объявили, что отец покончил с собой в июне 1967-го. Добавили, что дома нашего больше нет и меня передадут “на поруки” в отцовское учреждение, где будет принято решение о моей дальнейшей судьбе.

В принципе, было известно, что начиная с лета 1968-го молодежь массово отправляют в деревню на трудовое перевоспитание. Я читала постановление, репортажи, мысленно была к этому готова. Точно, что лучше в деревню, чем в камеру. Но чувства были какие-то смутные. С одной стороны, конечно, ощущение радости, с другой – подобие страха. В тюрьме все уже стало привычным, понятным, даже, как ни странно это прозвучит, безопасным. Хотя и тяжело в четырех стенах, но

стабильно. Тем более, повторяюсь, меня не били, последние месяцы перед освобождением вообще давали спокойно существовать. А теперь что будет? Непонятно.

И тем же путем, каким меня доставили в тюрьму, повезли обратно. (Аллу, как выяснилось, уже отправили в Пекин несколькими часами ранее.) Знакомый двор, знакомое здание, мы с отцом столько раз приезжали сюда, были в клубе, кинокартины разные смотрели... Передали меня на попечение сотрудниц, те отвели нас с Аллой в наше новое жилье. Такая китайская двушка. Смежные комнаты: в одной, внутренней, должны были жить мы с Аллой, а в другой две сопровождающие нас женщины. Но Алла сидела и ждала меня снаружи, не входила в нашу комнату. Я кинулась к ней, и меня просто поразил какой-то отстраненный, совершенно безразличный вид. Мы обнялись, но она была никакая.

О том, что отца нет в живых, ей не сказали. Перепоручили мне. Я решила завести этот разговор через день, вечером; предложила: “Алла, давай поговорим”. Она ответила: “Нет. Я должна сейчас писать”. – “Что ты будешь писать?” – “Мне надо писать показания. Я должна”.

Садится. Начинает писать по-китайски, как автомат. Я заглядываю через плечо, вижу совершенно несвязные слова. Стало ясно, что она пережила нервное потрясение.

Потом приехали следователи, разговаривали очень вежливо. Предупредили, что путь наш лежит в деревню, а я должна им регулярно присылать свои идеологические отчеты о том, как идет процесс перевоспитания. Та же самая самокритика, только в письменной форме, по крайней мере, раза два в месяц. Спросили, будут ли у нас какие-то просьбы перед отправкой. Я сказала: “У меня в тюрьме вылетела коронка, хочу зубы проверить”. – “Ну, организуем”. А потом говорю: “У меня сестра очень больная, что-то с нервами. Можно, чтобы ее посмотрели специалисты и какое-нибудь лечение назначить?” На что получила ответ: “Это бывает. Но в деревне она будет трудиться на свежем воздухе, и все пройдет”. Никому ее показывать не стали.

И мы вместе отправились начинать новую жизнь.

Глава 6

Домик в деревне

К тому моменту в деревню стали вывозить не только молодежь, но и сотрудников учреждений. По пути в стоматологическую клинику (куда нас все-таки отправили, хотя и под присмотром), а потом и по дороге на вокзал я увидела совершенно пустой Пекин, как будто вымерший. Если и попадались нам случайные прохожие, то исключительно пожилые. И меня такая тоска взяла: не знаю, когда вернусь, может, вообще никогда. В те времена в Пекин просто так билет купить было невозможно, только с командировочным удостоверением или с пекинской пропиской. А у меня вообще никаких документов не было. Мне их не дали на руки.

Отвезли нас в госхоз возле города Тяньцзиня, как я уже рассказывала, расположенный недалеко от Пекина. Жили мы в бараках общежития сельхозрабочих, работали на рисовых полях, которые вплотную подходили к железной дороге, той самой, по которой мы ездили в Москву. Я работаю и думаю: знала бы я, когда ехала, такая счастливая, беззаботная, что буду тут впахивать. При этом нужно еще раз подчеркнуть, что работы эти ни в какое сравнение с гулаговскими мытарствами (о которых мы потом прочитали) не шли. Трудом нас не изнуряли: кормили завтраком и отправляли в поле, потом давали обед, после которого полагался отдых. И опять в поле. А вечером политзанятия.

Это был огромный шаг вперед в сравнении с тюрьмой. Сидя в одиночке, я мечтала оказаться в общей камере, а еще лучше – трудиться в каких-нибудь цехах. Потому что в одиночке нужно все время что-то придумывать, чтоб гнетущие мысли тебя не подавили. А здесь люди рядом, постоянные занятия, тем более мы вместе с сестрой. А сотрудники, сотрудницы папиного учреждения, которые переселились вместе с нами, тоже были городские люди, многие – интеллигенты.

Правда, нам с Аллой запретили говорить по-русски: “Вы должны перековываться. Вы китайские девушки, китайские гражданки. Требуется говорить по-китайски”. Лишь оказавшись рядом в поле или во дворе, мы могли позволить себе тихо-тихо перекинуться несколькими словами по-русски. Такой случай выпадал редко, но однажды нам посчастливилось отпраздновать Новый год, перешептываясь на родном языке.

Китайцы европейский Новый год тогда не отмечали, а для нас обеих полночь между 31 декабря и 1 января была одним из главных переживаний жизни. Мы подготовились, скопили несколько юаней (нам выдавали деньги на уровне студенческих стипендий, 19 юаней в месяц; из них 15 или 16 мы вносили за еду, а чуть-чуть удавалось отложить). И в поселковой лавке, куда нас водили строем по воскресеньям, купили простенькие печеньки. Вернувшись в огромную общую комнату, где жили десять – двенадцать женщин, мы предложили: “Может, посидим подольше?” Последовал ожидаемый отказ: “Это буржуазно. Ляжем, как

всегда. В десять часов отбой". А наши с Лялей кровати стояли рядом, вплотную. И тогда мы спрятались под одеяло, взяли с собой фонарики, печеньки и часы. Дождались полуночи, поцеловались, поздравили друг друга с Новым годом, поели печенек, поговорили по-русски.

А на китайский Новый год мы вообще оказались одни. Семейных женщин, у которых были в городе дети и мужья, отпустили в Пекин на неделю. Нас же оставили со словами: "Столовая, правда, закрывается, ну, ничего, давайте учите готовить". Мы не расстроились – побыть наедине тоже неплохо, тем более что работы в поле отменили. Отдохнем, наговоримся всласть! У нас была печурка типа буржуйки; верхний ярус съемный, и если его отделить, то образуется полое пространство, которое мы решили использовать как духовку. Поставили пресное тесто, замешали его, положили грибы, отправили запекаться. Но сушеные грибы не размочили. Можете себе представить, что из этого вышло. Тем не менее сгрызли всё.

2

К концу 1969 года началось новое политическое движение, весьма странное, о котором и сейчас мало пишут. Так называемое разоблачение участников организации "16 мая", к которой можно было отнести кого угодно, я даже не уверена, что она в реальности существовала. "Культурная революция" обернулась хаосом взаимных интриг: практически каждый руководитель наверху, каждая массовая организация внизу сводили счеты со своими врагами, выискивались всё новые и новые объекты репрессий. Видимо, Чжоу Эньлай тоже воспользовался этой ситуацией, чтобы навести порядок, как он его понимал, и среди прочего дал поручение разобраться в смерти Ли Лисаня. Это было воспринято как приказ. Нужно понимать, что начиная с 1968-го партийные организации практически уже бездействовали, вместо партийцев на предприятия и в учреждения прислали военных, которые руководили всем, от заводов до университетов. А военные как рассуждают? Начальник приказал разобраться, значит, будем разбираться.

И тут Ляле, которая потихонечку стала в деревне успокаиваться, опять похужело: услышав в мобилизационном докладе новость о распоряжении Чжоу Эньлая, она вдруг собралась написать дацзыбао, чтобы рассказать то, чего другие не знают.

– Ляля, что ты можешь знать? Мы же были там.

– Нет, я знаю, я знаю.

И она к кому-то пошла, заявила о своем намерении, вызвала переполох, и мне стало ясно, что ее нужно всеми правдами и неправдами связать с врачами. Обратилась к руководителям, думала, они поручат мне отвезти ее в Пекин на лечение. Но услышала: "Нет, мы

сами справимся. Сиди, жди результатов”. Ее отправили в пекинскую больницу. Я тяжело переживала – для меня она была самым близким человеком.

Летом 1970 года меня перевели на другой конец страны, в провинцию Хубэй, где находится печально прославившийся во время недавней пандемии город Ухань. На востоке центральной части Китая. Довольно дикие районы, где, как выяснилось, раньше держали заключенных. Но во время “культурной революции” бывших зэков частью отпустили, частью перекинули на другие территории, а на месте лагерей устроили так называемые школы седьмого мая, где перевоспитывали интеллигенцию.

И вот там-то я впервые почувствовала себя на свободе. Потому что в тяньцзиньском госхозе мы все время были под присмотром, нас никогда не оставляли одних. А тут уже по пути я оказалась предоставлена сама себе. Ко мне прикрепили сопровождающего – молодого офицера, мы дружески болтали в дороге. А когда приехали в Ухань, чтобы на другое утро пересестись на автобус, он говорит:

– Знаешь, Ли Инна, у меня есть свои дела в городе. Мне очень надо кое-кого повидать. Ты погуляй по городу пока. А встретимся уже возле автобуса.

Я просто не поверила своим ушам: меня оставляют без присмотра, без надзора, без конвоя. Неужели такое бывает? Я побродила по городу, купила мороженое. Пошла с этим мороженым в парк, села на солнышке. Это было такое счастье... После стольких лет я впервые была без пригляда!

Когда мы добрались до трудового лагеря, меня привели в штаб руководящей военной группы. Формально, чтобы отметить, зарегистрировать, а на самом деле тамошним начальникам хотелось посмотреть, кто такая, почему ее судьбу отслеживает сам Чжоу Эньлай (говорят, было некое высочайшее указание от него, позаботиться, оказать внимание). Все начальство вышло, включая высоченного толстого дядьку, кажется, полковника, а может, даже генерала. Он спросил меня о чем-то, отреагировал серьезно. Все на меня очень внимательно смотрели. И в этом лагере по отношению к себе я уже не чувствовала никакой дискриминации. И в целом от провинции Хубэй у меня остались хорошие воспоминания. Да, это не полная воля. Да, тяжелые условия. А мне после тюрьмы и даже в сравнении с предыдущей деревней было хорошо: я среди молодежи, на равных правах. Мне вообще это место напоминало молодежный летний лагерь, хотя чего только мы там не делали. Главным образом работали на рисовых полях и огородах. Но и пшеницу там кое-где сеяли.

Конечно, мне помогали моя молодость и природное здоровье; я была одной из самых крепких девушек на нашем курсе, сил хватало на многое. Когда нам выпадали выходные, большинство предпочитали отсыпаться, а я со своей новой подружкой, тоже спортсменкой,

выбиралась на проселочную дорогу и шла в соседний маленький поселок, по пути любясь лесами и озерами. Заглядывали в сельскую харчевку, перекусывали. Путь туда и обратно занимал практически целый день. А поскольку нас заваливали просьбами, кому мыла в селпо купить, кому стиральный порошок, на обратном пути мы тащили огромные сумки. Однажды не смогли их унести, сломали какой-то большой сук, на него повесили авоськи. Так и шли с этим подобием коромысла.

3

Политические волны докатывались и до нашего трудового лагеря. Началась переоценка событий “культурной революции”, значительную часть которых я из-за отсидки пропустила. Как выяснилось, дружина “Красное знамя”, с которой я была связана в хунвейбиновский период, заняла “правильную” сторону в политических битвах. Чжоу Эньлая, которого она защищала, левакам свалить не удалось, и теперь он брал реванш. Что же до наших противников, которых считали истинными борцами, то они теперь предстали “стороной зла”. Самое жесткое из предъявляемых им обвинений – захват и поджог британского представительства. Также им инкриминировали создание протестного городка возле МИДа и резиденции ЦК в Чжуннаньхэе и беспорядки на митинге против Чэнь И. По прошествии нескольких лет всё это стали расследовать, выявлять зачинщиков и виновников. А я, сидевшая в тюрьме и поэтому ни в каких митингах не участвовавшая, вдруг оказалась правильной девочкой.

Но политические дела, даже если они тебе лично ничем не грозят, разрушают человеческие отношения. С одной из первокурсниц мы почти подружились, но потом оказалось, что она из “неправильной” дружины, когда-то примыкала к левакам. И мне поручили быть ее “адъютантом”. Была такая практика: если человек под подозрением, за ним нужно следить, не выпускать из виду, для чего приставляют к нему “адъютанта”, который ходит за ним по пятам, даже в туалет сопровождает. Не так давно за мной ходил конвоир, а теперь я сама выступала в качестве конвоира. Ничего плохого я ей не делала, но только-только возникшая доверительность с неизбежностью исчезла...

Еще одна проблема, которую я тяжело переживала, – невозможность разговаривать по-русски. Раньше, до ареста, я гораздо чаще думала по-русски, в тюрьме вдруг поймала себя на том, что полностью перешла на китайский. Честно говоря, я испугалась и буквально приказала себе думать по-русски. Но приказать легко, а выполнить... Хочу мыслить по-русски, а соскальзываю на китайский. Языковой практики нет, книг русских нет... В результате дикая

головная боль; я себя, как жернова, поворачиваю, заставляя думать по-русски.

Но однажды меня с девочками послали забрать инвентарь со склада. И вдруг я в коробке вижу учебник по советской литературе. Старый, отпечатанный на ротапринте в те далекие времена, когда у нас в университете еще издавали учебники. Я так обрадовалась. Схватила его, утащила и читала на досуге. Там были, конечно, знакомые вещи типа “Буревестника”, который я и так помнила наизусть. Но были и незнакомые. По-моему, отрывки из “Цемент” Гладкова, о котором я до этого ничего не знала. Можете сейчас смеяться, но я прочитала с большим интересом. Для меня это было как десерт! Трудно понять в другую эпоху, при других обстоятельствах, но из песни слова не выкинешь.

4

Ляля вышла из больницы, и ее отправили в новый госхоз, тоже сравнительно недалеко от Пекина. Она работала в садоводческой бригаде – не так тяжело, как в поле, но тем не менее опять что-то с ней произошло. Я не спрашивала, что именно случилось, но, видимо, она что-то не то прилюдно сказала. Было созвано комсомольское собрание, вроде бы даже исключили ее из комсомола за неправильную “линию”. И вдруг я получила от нее письмо, тоже странное: она писала, что возмущена, готова выйти на улицу, заявить протест. Я так испугалась! Какое “выйду на улицу”! Какое “заявить протест”! На дворе 1971-й, только что пригласа “культурная революция”. Думаю: опять посадят, куда-нибудь зашлют.

Но не упекли, только вновь отправили на принудительное лечение.

И перед нами обеими встал непростой выбор. Мы понимали, что не будем сидеть по своим деревням вечно – рано или поздно нас распределят на работу. Как правило, распределяли тоже в деревни, в лучшем случае в какие-нибудь маленькие уездные городки, поселки. Куда проситься? С одной стороны, у меня родственники на родине отца. Крохотный уезд, практически село. С другой – Алла то ложится в больницу, то выходит, ей нужна помощь. Ладно, думаю, посмотрим, куда ее направят, а я попрошусь к ней поближе.

И вдруг положение в стране опять переменялось: весной 1971-го, как раз когда в Пакистане, на нейтральной территории, обговаривалась возможность приезда Никсона в Китай, по решению Мао Цзэдуна началась так называемая дипломатия пинг-понга. Во время чемпионата мира по пинг-понгу в Японии американская команда получила приглашение посетить Пекин. Наряду с одиннадцатью представителями леворадикальной “Партии черных пантер” спортсмены стали первыми американцами, принятыми в Китае после

долгого перерыва. Стало ясно, что Китай решил повернуться к Западу лицом. (По-прежнему оставаясь спиной к Советскому Союзу.) Чжоу Эньлай сразу же сориентировался, не без его участия МИД заявил, что ему нужны молодые кадры переводчиков. А где сейчас находится боевая дружина? В деревне. “Всех, кто еще не распределен, вернуть. И направить на годичную языковую подготовку, чтоб языки вспомнили. А там выявим лучших и возьмем на мидовскую службу”.

Я не верила, что меня, с моим тюремным прошлым, это решение тоже коснется. Но, к счастью, ошиблась – и вместе со всеми, так сказать, на общих переводческих основаниях, я отправилась в Пекин. Наша группа возвращалась по притоку Янцзы, на примитивном пароходике; ехали со своим скарбом – и каждый вез коромысло. Потому что на юге коромысла сильно отличаются от северных. Те почти прямые, как палка, и очень тяжелые, натирают плечи, а на юге бамбуковые, эластичные, и еще у них есть изгиб, они пружинят в такт твоей ходьбе. С таким коромыслом расставаться глупо, все равно еще придется ездить в деревню, пригодится. Поэтому все свои узлы и чемоданы повесили на коромысла и так загрузились на пароход.

Приехали мы в Ухань ночью. Нам сказали: гостиница не предусмотрена, вы тут где-нибудь сами устройтесь, лучше всего на вокзале, утром будет поезд на Пекин. И мы, несколько сот человек, все грязные, ободранные, высыпали на уханьские улицы. А пристань была расположена в старом квартале, который когда-то строили иностранцы для заграничных концессий. Идем по темным улицам, вокруг европейские дома, чистенькие коттеджи, а среди них мы – орава оборванцев с чемоданами, тюками и коромыслами. Выглядело это забавно.

В Пекине нам тоже предоставили полную свободу – в том смысле, что никто нами заниматься не планировал. Назначили сбор в институте, добирайтесь своим ходом. Я решила, что поеду сначала на улицу Ванфуцзин – в баню. Ой, с меня такие потоки грязи текли... Черная была вода. И такое наслаждение смыть с себя всю эту грязь – навсегда запоминается. И поесть в городской забегаловке, там же на Ванфуцзине, – настоящее счастье. Теперь, думаю, получу еще одно удовольствие, проеду на пекинском метро, которое запустили в мое отсутствие – когда меня сажали, оно только строилось.

Подхожу со всеми своими вещами, а там стоят военные наряды, метро закрыто.

– А почему? А когда откроют?

– Ничего не знаем.

Позже выяснилось, что именно в этот день, 13 сентября 1971 года, маршал Линь Бяо попытался убежать из КНР в Советский Союз и его самолет сбили. Или он сам разбился – разные есть версии. В любом случае чрезвычайная ситуация, и никто ничего не мог объяснить. Поэтому я добиралась на автобусе до института, приехала уже поздно

вечером. Нас распределили по общежитиям. Я засыпаю, и почему-то мне кажется, в полусне, что я слышу звуки рояля. Играет кто-то классическую музыку. Так мое воображение откликнулось на возвращение в Пекин.

Утром я поехала к Алле, поскольку небольшой отпуск до начала занятий нам предоставили. Набрала всяких продуктов, мы устроили скромное пиршество. Спали вместе на узкой кровати, а вечером развлекались тем, что покидали пределы госхозного сада, шли вдоль шоссейной дороги и тихонько пели русские песни. Все, какие только знали, – взрослые, детские...

А дальше у меня начались всякие неприятности.

5

Слухи о Линь Бяо и его неудавшейся попытке бегства уже просачивались, но толком никто ничего не знал. Поверить до конца было трудно – в уставе партии он был назван преемником Мао, и вдруг этот преемник – раз, и мчится к главному врагу коммунистического Китая. Вообще, кому верить, зачем верить и как все это оценивать, никто не знал; все это ставило под сомнение итоги “культурной революции”. Началось брожение среди интеллигенции.

Вдруг нас всех, студентов и преподавателей, собирают на стадионе, чтобы сделать “важное сообщение”. Объявляют официальную версию случившегося и объясняют, что отечество в опасности, стало быть, нужно начинать еще одно движение. После чего ко мне подходит некий военный и говорит: “Ли Инна, иди-ка сюда. Принято решение, что ты не будешь участвовать в новом движении”. Неприятно удивленная, спрашиваю: “А что же мне делать?” – “Иди к себе в общежитие, читай книгу Мао Цзэдуна. Занимайся политическим самовоспитанием”.

И мне стало очень страшно. Если человека лишали права на участие в политическом движении, это означало, что он отщепенец. А дальше может последовать гораздо худшее. Кроме того, история с Линь Бяо была чревата новой вспышкой шпиономании; я страшно боялась, что поднимается новая волна преследований. “Культурка” не кончилась, она лишь немножечко притихла, но ведь и раньше были и подъемы, и спады. Что же, впереди новый пик? И – по второму кругу – борьба со всеми, кто биографически связан с Советским Союзом? И я могу попасть под раздачу?

И тут “не было бы счастья, да несчастье помогло”. Возможно, сказалось нервное потрясение, а может, это просто совпадение, но через день у меня резко поднялась температура. В институтской поликлинике поставили диагноз: гепатит, болезнь Боткина.

– Поезжай в инфекционную больницу.

В общежитии все уже знали, что я не допущена к новому движению. Собираю вещи, температура под 38, боль под ребрами, печень дает о себе знать, но все боятся, никто не помогает. Я сама выхожу с вещичками, сажусь в автобус – на меня в полном молчании смотрят девчонки, замершие на пороге общежития.

Но в больнице никто не догадывался, что я пария. И в палате у нас сложились дружеские отношения. Потом, правда, тоже заявили, что будут политзанятия и нужно представить справку, допущены мы до них или не допущены. Мне пришлось представить справку, что меня не допустили, но моим подружкам по палате было уже на это наплевать. Дальше инфекционной больницы не сошлют. Так, благодаря гепатиту я выбралась из тупика, преодолела стресс.

А когда настала пора выписываться, примерно через месяц, выяснилось, что при поликлинике имеется изолятор. Половину верхнего этажа корпуса отдали под “бывших заразных” (в Китае тех лет многие страдали гепатитом, все боялись его подхватить), их селили в отдельные комнаты. Более того, на правах больной я могла не ходить на политзанятия, не участвовать в политических движениях. Благодаря болезни у меня началась новая жизнь, свободная от вовлечения в политику.

Глава 7

Конец “культурки”

1

Нами, гепатитными, никто особенно не занимался; мы сбились в компанию, гуляли по паркам, которые стояли совершенно пустые, поскольку народ по большей части был либо в деревне, либо (если в городе) почти все свободное время проводил на политзанятиях. А к нам не приставали ни с идеологией, ни с политикой – это был год настоящей вольности. Мы ездили на велосипедах в Летний дворец, пролезали на территорию через полуразрушенную стену, перекидывали велосипеды, находили дальний уголок, где в теплые месяцы можно было плавать, загорать на травке. В общем, хорошо было.

Тем не менее я понимала, что отныне могу рассчитывать только на свои силы и должна спасти пошатнувшееся здоровье. В тюрьме я легко переносила тяготы, в деревне выезжала на том, что работаю за троих, быстро осваиваю сельские навыки. А тут у меня отнимают

здоровье, последнюю мою опору. Я очень боялась, что стану полным инвалидом, и тогда мне конец – по вполне обыденным, не политическим причинам. Слава богу, все обошлось. И надо сказать, что именно в “культурную революцию”, во второй ее фазе, зародился массовый интерес к китайской медицине, в том числе к дыхательной гимнастике. Не было этой традиции в Китае XX века; так что она тоже имела вполне революционное происхождение. Просто потому, что обстоятельства заставили перейти на принцип “помоги себе сам”.

На улицах никто тогда еще не занимался зарядкой, всяческими упражнениями, зато появились брошюры, инструкции по “народным” техникам лечения. Потому что не хватало медиков, особенно в деревнях, и властям пришлось признать так называемую категорию босоногих врачей. Что значило: самоучкам разрешается лечить, если результаты не плачевны. В институтском (не больничном) общежитии был один такой знахарь. Вообще-то изначально библиотечарь, но, перевоспитываясь в деревне, он всерьез занялся иглоукалыванием и довольно успешно ставил иголки всем нам.

А еще в результате привольной жизни в этой “боткинской” компании у меня начался роман с однокашником, изучавшим лаосский язык. Так определилась моя судьба. Мы поженились в 1972 году, что было не так уж и просто устроить: даже сейчас китайским студентам вплоть до аспирантуры запрещается вступать в брак, а тогда тем более. Но мы были весьма великовозрастными студентами: сколько лет в тюрьме, деревне, в целом – “культурная революция”. К моменту возвращения в Пекин у большинства образовались устойчивые пары. Пока мы были в деревне, на такие неформальные союзы пытались устроить гонения; военные комиссары и активисты выступали и кричали:

– Что за безобразие! Выходит вечером патруль, а вы – кто под мостиком сидит, кто-то на бережку, в кустах. Что там у вас происходит? Прекратить!

Но вообще в этом смысле все тогда как-то было проще – и гораздо медленнее, чем сейчас. Люди общаются, смотрят друг другу в глаза, ощущают токи, всё чаще встречаются. Так постепенно и складываются отношения, достаточно сдержанные, в соответствии с патриархальным воспитанием. Даже в нашем китарусском доме, где мы с Лялей жили привольно и ходили на танцульки с иностранцами, соблюдались строгие этические нормы, до свадьбы ни-ни. Но и самой свадьбы тоже, как выясняется, ни-ни. И тут вышло специальное указание МИДа: поскольку мы уже достигли брачного возраста и еще придется доучиваться, то студентам дозволяется вступать в браки, если получено спецразрешение.

Стали играть свадьбы в общежитиях практически каждый день. Одна, две, а то и три пары. Очень редко торжества проходили дома у жениха или невесты: среди нас мало было пекинцев. Приносили

конфеты (тогда они были нормированные), семечки, обычные орешки. Например, арахис считался шиком, настоящим лакомством. И бегали весь вечер с одной свадьбы на другую. Вот такая свадьба была и у меня.

Правда, я решила хоть что-нибудь купить себе новенькое, более-менее приличное, свадебное. Но меня постигло полнейшее разочарование: все, что продавалось в магазинах, вызывало раздражение – абсолютно одинаковое, неуклюжее, либо синего, либо зеленого цвета. В итоге я все-таки выбрала серую курточку; у нее чуть-чуть отличался фасон воротника, максимум допустимого своеобразия. И пошла в парикмахерскую, куда ходила до “культурной революции”, к прекрасному шанхайскому мастеру, который отлично делал укладку. Увидев меня, он так обрадовался! Расспросил о жизни; о тюрьме я ему не сказала, только о деревне, он посочувствовал. Но укладку делать отказался:

– Нам разрешается ее делать, только если есть рекомендательное письмо, что это нужно или для выезда за границу, в командировку, или для выступления в театральных постановках.

– Но у меня свадьба!

– Я феном пройдуся, волосы немножечко подниму. На большее просто не имею права.

2

Отец моего жениха Лю Хэчжуна служил в строительном управлении железной дороги, родом он был из деревни, потомственный столяр и плотник; очень хороший, добрый, работающий человек. Мать вообще была неграмотная, домохозяйка; иногда подрабатывала уличной продавщицей мороженого. Правильное пролетарское происхождение. Намерение их сына жениться на мне вызвало опасения у части родственников, близких друзей и особенно среди преподавателей. Потому что таких, как я, называли тогда “черными” – мое происхождение никуда не годилось, им можно было замараться. Но с третьей стороны, у него биография тоже была подпорчена, поскольку во время “культурной революции” он оказался левым активистом; руководителя их организации вообще, по-моему, отправили на исправительные работы, а жениху моему вынесли строгий выговор с занесением в личное дело. Поэтому он, может быть, и не боялся жениться на мне; минус на минус дает плюс. Ну и по природе своей он был человеком достаточно смелым.

Железнодорожники считались всегда высшей категорией рабочего класса, мой свекор получал в то время 90 юаней. Для сравнения: молодые специалисты, выпускники вузов, получали поначалу 46, спустя год-другой 56 юаней. А дальше могли годами ждать прибавки. Когда

дело дойдет до 90, вообще непонятно. Лю Хэчжун был единственным сыном, родители его баловали, посылали ему достаточно карманных денег; он даже носил красивые часы *Seiko*, что считалось роскошью и куда больше вязалось с его привычками и жизненными ориентирами, чем крайнее левачество. Вообще, когда мы познакомились, он был уже настроен критически, мыслил достаточно свободно, и общение с ним и его пекинскими друзьями слегка расшатало мои революционные взгляды в целом и на “культурную революцию” в частности. Потому что мне все эти годы уютней было думать, что наверху лучше знают, выбирают правильную линию. После казуса с Линь Бяо монолитная вера дала трещину, но пересмотреть позиции до конца я смогла только благодаря Лю Хэчжуну.

Конечно, его родители настояли, чтобы мы съездили к ним. Жили они далеко, пять часов на поезде, в очень темном, я бы даже сказала, грязном железнодорожном бараке. Я и в деревне ничего подобного не видела. Квартал выглядел так: ряды бараков, во дворе водонапорная колонка, там же сортиры. При входе в коридор висит маленькая-маленькая лампочка, очень тусклая. Они же, несмотря на сравнительно высокие зарплаты, привыкли экономить на всем, в том числе на электричестве. Мы приехали поздно. Вечер, фонарей нет, пробираемся узкими улочками, заходим во двор, там в почти полной темноте сидит человек на корточках. И спокойным будничным голосом спрашивает: “Приехали?” И Лю Хэчжун отвечает: “Да, приехали”. Это был его отец, который ждал на корточках у порога своего дома. Я все-таки выросла в европеизированной среде, мне такие манеры были внове. Да и торжественный ужин произвел странное впечатление. Отец пригласил ближайших друзей – пришли двое или трое старых рабочих. На пол поставили маленький столик. К нему табуреточки. Самая простая еда. Меня пригласили сесть рядом, а моя свекровь не села, только носила угощения из мрачной замызганной кухни. Ужасно.

Потом я спросила моего мужа (его фамилия Лю, так что мои дети тоже Лю):

– Почему она не присела?

– В рабочих семьях так не принято. Отец приходит, жена его кормит, а потом сама что-то ест.

Мне, с моей интеллигентной русской мамой, такое представить было трудно. Совершенно другой круг, другие традиции. Ну тем не менее, мы поженились.

До свадьбы у каждого из нас была отдельная комната в общежитии. Мы съехались, сдвинув и без того большие деревянные кровати. А вторую комнату оставили за собой, чтобы через какое-то время поселить в нее Аллу.

Завершилась переподготовка, и нас стали тасовать, кого куда направить на работу. МИД, военные, экономическое министерство брали только тех, у кого было хорошее происхождение и незапятнанная биография. Кто-то получал распределение, перебирался в другие места, народу в кампусе становилось все меньше. А мы с мужем сидели и ждали: оставят нас в Пекине или распределят в глушь. Были прецеденты, что “неправильных” выпускников возвращают в деревню. Приходили в гости такие же отщепенцы, как мы, запятнанные кто историей семьи, кто ролью в “культурке”. Говорили по душам, а чтобы как-то расслабиться, в карты играли, пасьянсы раскладывали.

И настал день, когда вызвали меня на беседу в рабочую группу из МИДа. Тоже все достаточно левые, конечно. И они мне сказали:

– Готовьтесь, что вас с мужем мы отправим в провинцию Хэбэй, откуда он родом. И вы там будете в деревенской школе работать.

В реальности это означало пожизненную ссылку – раз. И два – вечную разлуку с Аллой, получившей работу в Пекине, на заводе неподалеку от нашего университета. Но к этому моменту потихонечку стали восстанавливаться некоторые контакты со старыми друзьями, что до поры до времени было строго-настрого запрещено. Как-то раз я была в гостях у поэта Эми Сяо, который, как и его жена Ева, отсидел срок в тюрьме, по той же статье, как иностранный шпион. И один из трех сыновей Евы сказал:

– Слушай, тебе же не запрещают ходить по начальству, обращаться с просьбами. Попроси, чтоб тебя оставили здесь, в Пекине.

– К кому мне идти?

Они мне посоветовали обратиться к известному дипломатическому деятелю Ляо Чэнчжи, который в ранней молодости учился в Москве, отец мой его неплохо знал, я с ним пересекалась – такой веселый дядька; в “культурную революцию” он, естественно, тоже пострадал, но вернулся на работу в МИД.

Я была всегда очень робкая, в этот раз еле пересилила себя. Пустит – не пустит? Но что делать? Надо. Подхожу. Жилой дом за высокой стеной. Стоит часовой, спрашивает: “К кому? По какому делу?” Я объяснила, сказала, что хозяин – хороший знакомый моего отца. Тот даже не стал спрашивать мое имя.

– Подождите.

Вышел секретарь, я назвала себя, пошла за ним в дом; снаружи гостиная небольшая, за столом сидит Ляо Чэнчжи с семьей. Он мне кричит: “Инна, погоди минуточку. Сейчас мы закончим с ужином”. Непринужденно, как раньше, в детстве. Для меня это был сюрприз, я отвыкла от такого обращения.

Выслушав мою просьбу, Ляо ответил:

– Я очень хочу тебе помочь, но я сейчас только советник. И скажу по секрету, к моему голосу не очень-то прислушиваются. Там по-прежнему сидят все эти леваки. Я, конечно, сделаю все, что могу. Но ты, в свою

очередь, обратиться к руководителям вашей рабочей группы и скажи, что была у меня.

Я так и сделала. Через какое-то время меня вызвали и объявили: “Да, мы разобрались, всё учли, решили вас направить на работу в столицу провинции Хэбэй. Там есть педагогический университет, вы сможете преподавать русский язык”. Но мне-то нужно было остаться в Пекине, при Алле! Я решилась на последний шаг, написала письма на имя Чжоу Эньлая и Мао Цзэдуна. Алла поехала на велике в резиденцию Мао, оставила на КПП письмо – и на этом дело закончилось, никаких последствий не было. А я отправилась в приемную Госсовета, и меня в нее пропустили (тогда все это было достаточно свободно). Сотрудница в окошечке очень внимательно на меня посмотрела, сразу поняла, что я полукровка, сказала: “Хорошо, присядьте, я сейчас вернусь”. Через несколько минут (думаю, они просто сами распечатали конверт, прочитали) вышла ко мне и говорит: “Ваше письмо принято”.

Это был хороший знак. Возможно, причина благоволения крылась в том, что Чжоу Эньлай как раз в конце 1972-го занялся делами некоторых иностранных специалистов, много лет работавших в Китае и оказавшихся в тюрьмах. В основном не русских, не советских, а французов, англичан, американцев. Таких было немало – скажем, я дружила с одной девочкой, француженкой по матери. Накануне “культурной революции” она уехала к бабушке во Францию, через год решила вернуться, из романтических соображений, чтобы принять участие в революционных событиях. Тут ее и схватили за то, что фотографировала на улице. Цап-царап, и посадили в тюрьму. А теперь выпустили и даже разрешили получить французский паспорт.

Но в Китае все делается небыстро. Меня ни в какую провинцию не отправили, но и в Пекине работы не дали. Наступила осень 1974-го, я уже успела родить своего старшего сына Павлика, ему еще года не было. Вдруг приходят ко мне две преподавательницы русского факультета, я там знала всех – они поголовно были мамиными студентками, ставшими потом ее коллегами. В детстве я их называла тетями и дядями. Ну, пришли эти две тети как бы посмотреть на ребеночка новорожденного. Поговорили о женских и детских делах. А под конец как бы невзначай спрашивают:

– Инна, а ты бы не возражала, если бы тебя оставили работать у нас на факультете?

– Как я могу возражать?

Как мне потом сказали, Чжоу Эньлай негласно передал, что можно меня оставить в Пекине. Но на испанском факультете засели молодые леваки, не захотели меня брать, такую-сякую. А на русском люди были все-таки постарше, поспокойней, большинство симпатизировало маме. Вслух они этого не говорили, но можно было почувствовать.

У мужа дела шли не так гладко. В конце концов ему дали работу в университете, но временную, подсобную. То он спортивной секции

помогал, то в типографии нашей работал. Удовольствия мало, но хотя бы нас не разлучили, мы оба жили в Пекине. Я жалела, что теряю испанский, столько лет зазря проучила его, но понимала, что лучшей участи пока ждать не приходится.

Да и к русскому языку меня тянуло. Я вернулась из деревни с некоторыми накоплениями, 100 с лишним юаней. И на что я их решила потратить, оказавшись в карантинном общежитии, где вроде бы меня никто не контролировал? Я решила купить транзисторный приемник – они в Китае только-только появились. Самыми хорошими считались приемники марки “Панда”, с коротковолновым сектором: на коротких волнах вещали советские станции. Я не слушала международное китайское радио, мне хотелось знать, что в СССР происходит, поэтому я, несмотря на помехи, ловила дальневосточные программы, советское радио. Не включала на полную громкость, чтобы никто не донес, но потихонечку слушала.

4

Что меня особенно порадовало на русском отделении? Маленький читальный зал по специальности. Туда студентов не пускали, но у преподавателей был открытый доступ. Газеты и журналы из СССР приходили с большим опозданием, и выбор был не такой, как когда-то у нас дома. Но всё же поступали “Правда”, “Известия”, “Огонёк”, помимо, даже “Новый мир”. В журналы я тут же вцепилась, стала читать взахлеб. А кроме того, восстановила работу большая библиотека, студенческая, куда меня тоже пускали и где можно было брать русские книги. Не всем и не всё выдавали, но мне опять повезло, там работала моя давнишняя знакомая, милейшая женщина, она мне помогала получить “дефицитные” издания. Я впоследствии расспрашивала у советских коллег: что им в те годы было всего труднее достать? Они отвечали: Булгаков, Пастернак, Платонов, подпольно – Солженицын... А в Китае мне доставали Горького! Фадеева помогли перечитать! Нынешний читатель может мне не поверить, но огромной популярностью пользовались романы Всеволода Кочетова – его официально переводили в КНР, он считался представителем здоровых сил, врагом оппортунизма. Я прочитала “Чего же ты хочешь?” именно по-китайски.

Помимо прочего, в библиотеке хранились записи передач московского радио. Мне иной раз поручали что-то послушать, отобрать материал для аудирования. И тут я осознала свой языковой регресс: слишком много новых слов, непривычных выражений, другая интонация, не похожая ни на испанскую, ни на китайскую. Я слушала и все время бормотала, повторяла тональность московских дикторов.

Вообще, к концу 1970-х мы всё острее чувствовали культурный голод, потому что нас слишком долго держали на скудном пайке. Кроме нескольких так называемых революционных опер, революционных фильмов, ничего “в обороте” не было. Когда мы были в деревне, помимо очень скучных китайских революционных фильмов, иногда привозили советские – “Ленин в Октябре”, “Ленин в 1918 году”. И на общем картонном фоне они казались чем-то живым и настоящим. Молодежь их любила. Там были не только лозунги, но и какие-то шуточки, которые вошли в китайский язык, стали крылатыми словами. (Сейчас бы их назвали мемами.) “Ленин в 1918 году” начинается с того, что охранник вождя мирового пролетариата утешает жену: “Все будет. Хлеб будет, молоко будет”. И вот это “хлеб будет, молоко будет” стало китайской поговоркой. Притом что для китайцев молоко вещь не очевидная. Люди смеялись, когда повторяли: “Хлеб будет, молоко будет”.

В середине 1970-х вдруг дали разрешение показывать в учреждениях кино из запасников. (Все крупные конторы имели свою кинопередвижку, аппаратуру и архивы старых фильмов, в основном советских.) Наш институт не исключение. Очень хорошо помню, когда у нас в большом зале решили показать “Молодую гвардию” Сергея Герасимова. Ну, конечно, прошло на ура. Зал просто не мог вместить всех желающих, помимо преподавателей и студентов, набежали подростки из соседней деревни, которые стояли на подоконниках и напротив окон – на плечах друг у друга. Я должна была синхронно переводить, и меня охватил ужас. Потому что, если вы случайно помните, фильм начинается с того, что девушки во главе с Улей Громовой сидят на берегу озера, собирают кувшинки, потом начинается бомбежка. И говорят они все время – и довольно быстро, да еще используют украинизмы. Я слушаю – и ничего не могу понять. Чудом избежала полного провала.

Года два продолжались такие закрытые показы. Я постепенно привыкала к звучащей русской речи. И особенно хорошо помню фильм Ивана Пырьева “Сказание о земле Сибирской”. Я его столько раз синхронизировала, что почти выучила наизусть.

Стали появляться и книжки. Во время “культурной революции” продавались только красные цитатники Мао, его произведения и сборники передовиц “Жэньминь жибао”. Больше ничего. Неожиданно в магазины стали поступать другие книги. Одной из первых, вызвавших ажиотаж, была тоненькая книжка кулинарных рецептов, она стала бестселлером, ее расхватывали, как горячие пирожки. Что касается литературных произведений, то издали стихотворения Чэнь И, министра иностранных дел, который тоже пострадал от “культурной революции”. И поскольку сам Чэнь И был достаточно популярен, сборник тоже мгновенно разошелся.

Меня больше интересовала литература на русском, но никакого самиздата в Китае не было: его в конце 1970-х годов заменяла так называемая литература для внутреннего пользования, которую печатали официально, типографским способом и распространяли в закрытом режиме, по спискам. А уже где-то в середине 1970-х, еще “культурная революция” не была полностью похоронена, доступ к этим книгам упростили. Дня на два выдавали, потом забирали. В таком режиме переводились воспоминания Черчилля, английские биографические, историко-мемуарные вещи...

По принципу “враг моего врага – мой друг” в библиотеки стали заказывать книги издательств “Посев”, “ИМКА-Пресс”, другие эмигрантские издания. Брать их можно было по особому разрешению, но маму уже реабилитировали и у нее был абонемент в Пекинскую национальную библиотеку. В Китае маму все знали под именем Ли Ша, она считалась одной из основательниц китайской русистики... Я по ее доверенности забирала все эти книги, поэтому и прочитала “Доктора Живаго”, “Крутой маршрут” Гинзбург, романы и трактаты диссидентов задолго до того, как с ними познакомились в СССР. Официально, в коммунистическом Китае, сразу после “культурной революции”... Читая Солженицына, Евгению Гинзбург и Шаламова, мы сравнивали сталинский ГУЛАГ со своим драматическим опытом – и приходили к выводу, что все-таки ГУЛАГ был гораздо хуже. Хотя и признавали, что нам в каком-то страшном смысле слова повезло – близкую подругу моих родителей, выдающегося театрального режиссера Сунь Кеин бросили в военную тюрьму, где держали в кандалах и довели до помешательства.

5

Но вернемся в середину 1970-х годов, когда обо всем этом невозможно было и мечтать.

Мама по-прежнему сидела в тюрьме, уже почти восемь лет. Я добивалась свидания с нею, оставляла письма на проходной министерства общественной безопасности, расположенной на площади Тяньаньмэнь. Но до весны 1975-го ответов не было. Мы в очередной раз отбыли в деревню, не очень надолго, на полмесяца-месяц. Я, будучи преподавателем, опекала своих студентов.

Недели не прошло, как вдруг приезжают за мной.

– Ли Инна, вам нужно немедленно явиться в Пекин.

В чем дело, что стряслось, конечно же, не говорят – тогда обожали секретность. Я испугалась, думала, что Ляля снова заболела. Но в Пекине выяснилось, что спецкомиссия по делам “иностранных шпионов” наконец-то разрешила увидеться с мамой.

Мы с Аллой и Лю Хэчжуном рано утром вскочили на велосипеды, добрались до здания недалеко от Тяньаньмэнь, где нас пересадили в

джипы и отвезли в тюрьму по знакомой дороге. Сюжет повторился, но роли менялись; нам не грозила отсидка, мы понимали, что останемся на воле. Разрешение на встречу с заключенным спецтюрьмы дали не только нам: когда мы прибыли на место, то увидели еще одну семью, ожидавшую встречи с родными.

Нас провели в знакомый двор, велели ждать.

Сидим на первом этаже; уже тепло, поэтому двери открыты настежь. За ними видна дорожка; мы высматриваем, ну где же мама. Вижу, издалека кого-то ведут. Черная одежда, такая же, как была у меня во время заключения, очень редкие волосы коротко пострижены. Сначала мне показалось, что это мужчина. Но этот мужчина приближается, можно уже разглядеть лицо – и черты какие-то нетипичные, не китайские, нос большой, глаза. Странно. И только тут меня как ударило: это же моя мама! Процесс узнавания – как замедленная съемка в кино.

Мы, конечно, бросились к ней, расцеловались; нас оставили наедине с нею. Но мама сначала была какая-то очень напряженная, замкнутая, отрешенная, взгляд потухший. Она не плакала, и мы не плакали. Во время нашей долгой встречи – нам позволили побыть с нею часа два или три – она то и дело вскакивала: “Вы простите, мне нужно походить”. Потом опять садилась, продолжала разговор. Состояние у нее было явно еще не вполне адекватное. Хотя она была тронута тем, что мы привезли фрукты, булочки и даже редкий в те годы йогурт: к тому времени нам с мужем стали платить не по 19 “стипендиальных” юаней, а по 46, то есть 92 на двоих, так что смогли себе позволить.

Сопровождающие заранее предупредили: когда увидите маму, во-первых, не рыдайте, не теряйте зря времени на слезы (но мы и не собиралась рыдать). А во-вторых, не говорите о том, что вы с сестрой тоже были в тюрьме. Тем более не упоминайте о смерти отца. Мы сами ей скажем, когда будет надо. Нарушите уговор, не получите второе свидание.

Ладно, со своими судьбами мы как-то справились, рассказали, что были в деревне, и обошли годы, проведенные в тюрьме. Но когда мама стала спрашивать про отца, пришлось изворачиваться. Потому что один из первых вопросов был: “А вы папу не видели?” Говорю:

– Нет, мы не видели.

– Ну, сейчас вам дали разрешение на свидание со мной. Наверное, вскоре дадут разрешение на свидание с отцом.

И потом она все время возвращалась к этой теме: когда пойдете на свидание с папой, возьмите не только еды, но и сигареты той марки, которую он любит. И добавила, что совсем уж тяжело было слышать:

– Здесь ночью все время свет горит. Наверняка и там, где папа, тоже не гасят. Я беспокоюсь: как же он засыпает. У него и так сон был плохой, помните, он днем задерживал все шторы, чтобы уснуть.

Тяжело было не заплакать. Удар по сердцу: ему ничего этого уже давно не нужно, и никакой свет его больше не беспокоит. Но, в общем, я себя держала в руках. Алла сидела немножко отстраненная, немногословная. В целом мы справились, соблюли их правила, ничего не сообщили о своей тюрьме и о папиной гибели.

Мама была счастлива, что мы повидались; узнав, что у меня растет сын, пришла в восторг: она как раз мечтала о внуке. Расстались мы на том, что будем просить о регулярных свиданиях. А через несколько дней ее внезапно отпустили из-под стражи и отправили в некое подобие ссылки. Нам, разумеется, сообщили не сразу.

Дело в том, что начиная с осени 1974 года политических заключенных стали потихоньку освобождать. Первую группу, в которую попали Эми Сяо и его жена, пустили в Пекин и даже вернули прежнее жилье. После чего началась острая борьба между разными группировками в руководстве; самую крайнюю из левых группировок возглавляла Цзян Цин – позже их назовут “банда четырех”. Они настаивали на том, чтобы освобождаемых отправляли в провинцию, а не везли в столицу, где они могут объединиться и начать мстить. И тех, кто успел обосноваться в Пекине, старались выдвинуть из города. С кем-то справиться удалось, а в нескольких случаях они наткнулись на сопротивление. Например, Эми Сяо с женой просто отказались куда-либо уезжать:

– Если вы нас будете выволакивать, мы станем звать на помощь!

Несколькими годами ранее такой фокус ни за что не прошел бы, но революционный задор уже утих, и от семьи известного поэта отвязались. Однако маму, которая сидела в тюрьме до последнего, не стали ни о чем спрашивать, просто доставили на вокзал, спасибо, что хотя бы дали мягкий вагон, и вывезли в провинцию Шаньси, километрах в 800 от Пекина. Выделили ей домик с двориком, подселили двух девушек-комсомолок, которые, ясное дело, должны были приглядывать за ней. Для начала там даже поселился начальник местного отделения милиции. Но мама со всеми умела поддерживать хорошие отношения; милиционер быстро успокоился и вернулся жить к себе домой.

Узнали мы обо всем практически случайно: полагалось, чтобы ссыльного в пути сопровождали не только военные или следователи, но и представители парторганизации; от факультета поехал мамин коллега, вполне порядочный человек, который скрасил ей дорогу и первые дни пребывания. Они даже поговорили по-русски, обсудили всякие приятные вещи вроде культуры и преподавания. И с этим-то человеком я вскоре оказалась на уборке пшеницы под Пекином.

Сидим на току. Перерыв. Он спрашивает:

– Инна, а ты маме написала письмо?

– Нет, жду, когда назначат новое свидание.

– А разве ты не знаешь, что она уже не в тюрьме?

– Ничего не знаю.
– Ну, они, – смутился он, поняв, что сболтнул лишнего, – сами тебе сообщат.

Но в конце концов нарушил партийную дисциплину и “сдал явку”.

Вскоре после этого меня вызвали, официально сообщили, где теперь живет мама и что можно ее навестить. Более того (“ты, Ли Инна, подумай”), если мы с сестрой захотим перебраться к ней, нам препятствовать не станут.

Я дождалась, когда у нас начнутся короткие летние каникулы. И отправилась к маме в гости – вместе с мужем и сыном. Павлику еще не было трех лет, однако он уже начинал говорить по-русски, что маму очень тронуло. Но что касается предложения, чтобы мы переехали к ней, она наотрез отказалась от такой перспективы:

– Нет-нет-нет. У тебя прекрасное положение, Алла тоже при деле, и есть шанс, что я рано или поздно попаду к вам, в Пекин. А если вы окажетесь здесь, вам будет плохо, а я никогда отсюда не выберусь.

И почти три года, до конца 1978-го, она жила в этом крохотном городке в провинции Шанси. Вскоре выяснилось, что у меня будет второй ребенок, и в голову пришла идея: отвезти Павлика к маме, пусть поживет у нее. И ей хорошо, и я справлюсь – после декретного отпуска опять будет большая учебная нагрузка, а все свободное время съедят политсобрания. К тому времени все уже выдохлись, никакого энтузиазма не осталось, но собрания продолжались с отвратительной регулярностью. На них мужчины курили, а женщины вязали, и мы в издевку называли это деление на курящих и вяжущих “борьбой двух линий”. Даже я научилась вязать, иначе выдержать скуку было невозможно.

Сначала мама очень испугалась: “Ты что, я уже давно с детьми не возилась, да и условия не очень”.

Я написала в ответ: “Мам, у тебя там условия лучше, чем у меня в Пекине”.

Что полная правда – у нее было три комнаты: две смежные и одна отдельная; мы даже переправили к ней часть домашней библиотеки. И паек ей дали лучше, чем в Пекине: больше любимого маминого сахара, каждый день по бидону молока на местной ферме, тогда как в Пекине его в свободной продаже не было, только по талонам, для детей до семи лет и пожилых старше шестидесяти. Ну, и яблоки свежие... В итоге мама согласилась.

Кстати, о хозяйстве. Когда нас всех арестовали, особняк наш опустел, какое-то время в нем вообще никто не жил, затем его вернули в фонд госсовета. И встал вопрос, куда вывозить наши вещи. К счастью

для нас, в отцовском учреждении сидели дисциплинированные пожилые бюрократы, а не бешеная хунвейбинская молодежь. Они всё аккуратно переправили в высокие и довольно-таки сухие полуподвалы, составили реестр – целые ряды книг с описями по разделам: “Посуда”, “Мебель”, “Носильные вещи”, “Нижнее белье”. На каждый предмет приклеили инвентарную бумажку. И после того как нас с Аллой выпустили из тюрьмы, разрешили взять со склада какие-то вещи: белье, что-то из простейшей одежды.

– Всякие буржуазные платья для деревни не годятся, берите то, что окажется полезным.

Перед замужеством я написала еще одну заявку (у нас же с будущим мужем ничего не было), они внимательно изучили список и сильно его сократили. Например, я попросила шесть чайных ложек. Вычеркнули шесть, написали четыре. Попросила занавески на окна. Занавесок не дали, потому что это буржуазно, равно как настольная лампа. А чайник нашли самый старый, так что у него уже донышко прокопченное отваливалось. Но когда маму отпустили на свободу, они сами предложили переслать ей книги и сказали нам заглядывать почаще, проветривать имущество. Типа нужно о нем заботиться, рано или поздно могут всё и вернуть.

Кроме того, у мамы осталось немного денег на сберкнижке, которые тоже отдали; мы договорились, что купим ей телевизор: они уже появились в продаже, с маленьким таким экранчиком. Телевизор ужасно работал, еле-еле, и то лишь в определенные часы: показывал, как черно-белые тени сквозь рябь мечутся по экрану. Тем не менее он превратил мамин дом в подобие клуба для местных сельскохозяйственных рабочих, поваров и шоферов. Они к ней приходили, смотрели, семечки лузгали. Это маму веселило; она не могла быть одна – особенно после стольких лет в одиночке.

Павлик прожил у мамы два с лишним года, быстро восстановил русский язык. (Раньше он проводил много времени с китайской бабушкой и русский почти забыл.) Через полгода я приехала его навестить и в первое же утро услышала за стенкой детский голосок, что-то чирикавший на чистейшем русском языке. О, это было такое счастье, такой подарок! Бабушка ему читала сказки, детские книжки из наших советских запасов, разговаривала с ним.

Глава 8

Лишь бы не было войны

Все ощущали: надвигаются перемены. Какие именно, еще не ясно, но избежать их уже невозможно. В отношениях с Москвой просвета пока не было, хотя ужас 1969-го, когда на полуострове Даманский произошли приграничные столкновения между китайской и советской армиями, остался позади. В разгар тех событий мы с Аллой уже вышли на волю, но еще оставались под негласным домашним арестом. Как-то раз в воспитательных целях нас повели в кинотеатр – смотреть документальный фильм о Даманском... Самое тяжелое впечатление на меня произвело даже не оружие трофейное, а ряд пробитых касок. Я смотрела с ужасом и думала: погибли парни молодые, а у них есть матери, у некоторых жены... В газетах, на радио постоянно повторялась пропагандистская формула: *в ожидании возможной войны с Советским Союзом*. Осенью 1971-го, вскоре после гибели Линь Бяо, когда я гостила у Аллы в госхозе, ночью всех подняли по тревоге. Военные учения. Немедленно одеваемся, бежим за огороды. Нам кричат: “Ложись!..”

Все жили в ожидании войны, но прекрасно понимали, что если она начнется, советские танки из Монголии в течение дня могут дойти до Пекина, китайская армия не в состоянии будет отразить наступление. Китай мог победить СССР только в народной, партизанской войне, если бы она началась. Но народ не очень рвался воевать, не было особого патриотического подъема; многие чувствовали, что за счет разговоров о войне власти пытаются решить какие-то внутренние вопросы. И к нам, китарускам, у людей не было никакой враждебности. Даже иногда наоборот, ощущалась симпатия.

Вот пример. Я уже живу в общежитии. Карантинном. Год, может быть, 1972-й, 1973-й. Карантинный этаж постепенно начинает заселяться разными людьми. И появляется молодой библиотекарь, чуть постарше нас, слегка за тридцать. Немножечко без царя в голове. Когда-то он учил русский язык, любил по-русски поболтать. Однажды разговор выходит на тему возможной войны с Советским Союзом. Он говорит:

– Если война начнется, нас, конечно, всех из Пекина эвакуируют. В общем-то и ничего бы, но у меня собрана библиотека из русских книг, я бы не хотел их потерять. Знаешь, что я придумал? Я эти книги положу в ящик, на нем по-русски напишу: “Да здравствует китайско-советская дружба”.

Я смеюсь:

– Ну, тогда эти книги уж точно не пропадут.

В Пекине в те годы расцвело сарафанное радио. По газетам ничего понять было нельзя, из радиопередач тем более. А сарафанное радио доносило информацию о том, что творится в верхах. Мао Цзэдун стареет, дряхлеет. После его смерти может начаться раздраз, даже, может быть, гражданская война. По крайней мере, многие мои знакомые этого опасались. А репрессированным по большей части сочувствовали. Даже я это ощущала – некоторые наши преподаватели иногда тихонечко спрашивали: “А как мама? Где она? Как она?” В первые-то годы вообще никто не решался поинтересоваться, а тут хотя бы шепотом, но с нескрываемой эмпатией. Я не знала, кто реально сочувствует, а кто старается продемонстрировать заботу просто потому, что теперь так принято, но мне это было и неважно.

И тут случился 1976 год, в который много значимого и сложного произошло.

Накануне, в конце 1975-го, умер Кан Шэн; мы грешным делом вздохнули с некоторым облегчением – много зла пришло в нашу семью через этого человека, до последних дней он был источником опасности. “Жэньминь жибао” на протяжении двух или трех недель печатала соболезнования – от разных, как выражались, братских партий, от дружественных правительств. И вот как-то открываю газету, вижу: на последней странице газеты всё еще продолжают соболезновать Кан Шэну, а на первой полосе уже новое сообщение о смерти: не стало Чжоу Эньлая. Это было потрясение для многих; на него уповали, считали, что он держит на себе экономику, выравнивает курс страны. А теперь его нет. И что будет? И я тоже ощутила какое-то подобие осиротелости. На кого опереться, кто поможет, кто защитит? Тем более что после его смерти почти сразу взялись за детей элиты, из репрессированных семей. Подозревали, что они планируют протесты, принялись всех перетряхивать на предмет антиправительственных действий и антипартийных настроений.

А со мной произошла к тому же неприятная история, которая усилила мои опасения. Алла познакомилась с одним парнем, сыном действующего генерала, которого не особенно задела “культурная революция”. Парень, в общем, бесшабашный. Я не могу сказать, что у них был роман, но иногда он приезжал к нам в гости. Как-то Ляля ушла на работу, а он заехал к нам, накануне Праздника Весны. У меня не было в тот день занятий.

– Слушай, я хочу навестить семьи пострадавших. Составь мне компанию?

Думаю: а почему бы нет? Я засиделась дома.

Мы на велосипедах совершили большой рейд по Пекину. Заезжали в самые разные семьи, в том числе репрессированные, как семья маршала Хэ Луна – участника Великого похода и войны с Японией, снятого в 1966-м со всех постов и умершего в заключении. Были у какого-то профессора университета Цинхуа, в старинном пекинском

дворике. Профессор как профессор, седой, почтенный, с ним две пожилые китаянки, которые нас чаем угощают. Обе держатся как хозяйки, но не похожи друг на друга. И на него тоже не похожи. То есть не сёстры и не его дочери.

Попрощавшись с ними, я спросила спутника:

– Пстой, а кто они?

– Это его жёны.

– Как – жёны?! Многоженство же у нас запрещено.

Выяснилось, что будущий профессор в 1920-е влюбился в некую девушку, сделал ей предложение. А она ему поставила условие: “У меня есть любимая подруга. Если хочешь жениться на мне, то должен на ней жениться тоже. Мы обещали друг другу никогда не расставаться”. И он женился на обеих, что тогда разрешалось. А после 1949 года, когда отменили институт многоженства, уже сложившимся “многосоставным” семьям оставили возможность выбора: если одна из женщин хочет уйти от мужа, он не вправе ее удерживать. А если обе хотят остаться, то он по-прежнему обязан их содержать. Жёны профессора выбрали второй вариант. Так и жили. Вполне законный брак втроем, забавно.

Очень колоритная получилась поездка, но имела неприятные последствия.

Вскоре после смерти Чжоу Эньлая меня вдруг вызывают на партгруппу факультета; там, помимо партийцев, сидят руководители нашего отдела безопасности. Страшно мне это не понравилось. Со строгим видом начинают производить допрос, куда это я ездила, с какой целью, что замышляла. Плюс безопасник сообщает, что группка ребят, выходцев из военных семей, задумала обокрасть наш лингафонный кабинет, в связи с чем есть вопросы и ко мне.

– А что они собрались оттуда выкрасть?

– Пленки с советскими записями.

– Зачем?!

– Хотели получать ревизионистскую информацию.

Я почти сразу догадалась, в чем дело: в военной среде обожали советские песни; ансамбль Александрова был их кумиром. И украли они эти пленки просто чтобы слушать любимую музыку. А им на полном серьезе стали шить контрреволюционные действия. И поскольку Аллин ухажер оказался в числе обвиняемых, от меня допытывались: не я ли была их наводчицей?

Естественно, ничего за мной не было и быть не могло. Они меня помучили и отпустили, предупредив, что беседы продолжатся:

– На Праздник Весны не смейте никуда уезжать. Вызовем.

А на Праздник Весны нам давали десять дней – редкая возможность побывать у мамы.

Рассказала мужу, который через все это уже проходил. Лю Хэчжун посоветовал:

– Да плюнь ты на них. Никто в Праздник Весны работать не будет и тебя на беседу не потащит.

И я поехала, не предупредив никого и дрожа от страха: вернусь, а меня – бац, и призовут к ответу. С мамой, конечно, делиться не стала. Но муж оказался прав: никто в праздники работать не собирался, даже служба безопасности. Система начинала давать сбой.

3

А потом, в июле, произошло Таншаньское землетрясение.

О, это было страшно.

Уже светало. Наверное, часа четыре утра. Я спала очень крепко. И вдруг чувствую, что кровать трясется; спросонья решила – это муж меня будит. Открываю глаза и понимаю, что дом качается, как корабль в бурю. Потом вдруг начинает подпрыгивать. Накинув халатик, выскакиваю на улицу. Народ бежит босой, полуодетый, в чем попало; толчки продолжаются. И даже в следующие дни, когда меня, беременную, устроили получше, я ощущала, что земля подо мной ходит ходуном. Эпицентр находился почти в 300 километрах от Пекина, но неглубокое залегание. По минимальным подсчетам, 230 тысяч погибших.

Три недели нам не разрешали возвращаться в свои комнаты. Слава богу, стояло лето; мы соорудили временные навесы, под которые использовали огромные портреты членов Политбюро ЦК КПСС, хранившиеся, наверное, с начала 1950-х годов. Портреты были величиной со шкаф. Очень удобные, чтобы навесы из них делать. Я лежу на матрасе, а мне сверху улыбается лицо Никиты Сергеевича Хрущева.

Отныне на политзанятиях мало курили и почти не вязали: все сидели и обсуждали землетрясение. Рассказывали различные истории, трагические, комические. Говорильня заняла место идеологических проработок.

А 9 сентября мы явились на очередное политзанятие – во второй половине дня, но было еще светло. И вдруг по громкой связи на весь институт призывают:

– Дорогие товарищи, просим вас сейчас не расходиться. Через полчаса будет важное сообщение.

Все обрадовались перекуру, вышли. Я – вместе с очень милой преподавательницей, старше меня. Та заговорщически спросила:

– Вы уже слышали?

– Нет, – ответила я, не сразу поняв, о чем речь.

– Умер Мао Цзэдун! – прошептала она.

Мы обе были встревожены: не вернутся ли хаос, конфликты, столкновения. Только-только страна успокоилась после “культурки”,

снова стало престижно изучать английский язык, улучшились отношения с Соединенными Штатами, после истории с Линь Бяо вернули старых маршалов и прежний генералитет (армия восстановилась раньше остальных институций, ее не дали до конца расшатать левакам). А теперь что? Китай уже стоял на грани гражданской войны, когда в 1968–1969-м между хунвейбинами происходили боевые столкновения. В Пекине были просто стычки, в том числе на стадионе, а в некоторых провинциях военные гарнизоны стали раздавать оружие связанным с ними группировкам. Пулеметы, автоматы, даже порой гранаты и самодельные танки. Было очень много жертв. Сколько именно, до сих пор никто толком не знает.

А через несколько дней произошло то, что официально называют “разгром банды четырех”.

Поначалу не было никаких сообщений в прессе, но чуть ли не на следующий день после ареста Цзян Цин заходит к нам сосед-преподаватель, из бывших правых, осужденных в 1957 году, которых постепенно стали допускать до работы:

– Произошло нечто важное. – И выразительно молчит.

Я уклончиво спрашиваю:

– А в какую сторону?

– В сторону, скорее, положительную для вас.

И лишь через несколько дней было заявлено, что арестовали “банду”.

Народ возликовал, высыпал на улицы.

Конечно, жизнь стала восстанавливаться не сразу, не быстро. Я успела съездить к маме, прожила у нее весь декретный отпуск, родился Дима... И лишь в 1977 году мне посоветовали обратиться по маминому поводу в орготдел ЦК: время пришло, там сейчас другая атмосфера. Меня и впрямь хорошо приняли, пожилая женщина ласково предложила:

– Садись, девочка, рассказывай, что у тебя накопилось. Можешь выплакаться, выговориться.

Выслушав, пообещала: “Постараемся сделать все, что от нас зависит”.

Но продолжались внутренние трения: с одной стороны, действовал настроенный на перемены орготдел, с другой – так называемые следственные группы на уровне ЦК. Кто кого перетянет. И через несколько дней мне позвонила эта женщина со словами: “Сейчас ничего не выходит, но ты, Ли Инна, не теряй надежды”.

Ну, не терять значит не терять. И тут произошло знаковое событие. Будущего генсека Ху Яобана, реабилитированного при поддержке Дэн Сяопина, назначили заведующим орготделом ЦК. Орготдел стали называть “освобожденной территорией”. Помню, Ху Яобан сказал во время какого-то выступления, что интеллигенция – это часть рабочего класса. Сейчас это звучит, мягко говоря, стерто. Но тогда мы были в

полном восторге, потому что это давало нам шанс. Ведь “культурная революция” учила тому, что интеллигенция – прошу прощения, дерьмо.

И тогда сын поэта, Витя Сяо, который учился с сыном Ху Яобана, посоветовал: напиши еще одно письмо.

Нравы, как я уже рассказывала, были тогда простые: я свободно явилась в дом Ху Яобана и передала письмо через его невестку. Был вечер субботы, когда я отдала письмо; уже в понедельник он подписал бумагу с разрешением Ли Ша вернуться в Пекин и здесь ожидать окончательного решения вопроса. Неслучайно сейчас в Китае большинство людей питает к нему теплые чувства: он реабилитировал всех, кого мог. И прямо в понедельник вечером мне начали звонить из орготдела. Домашних телефонов не было ни у кого, только на работе. А я уже ушла из кабинета. Дозвонились до меня во вторник утром и велели немедленно ехать в ЦК, где сообщили, что есть письмо, подписанное Ху Яобаном, но разрешение пока неофициальное. Быстро собирайтесь, поезжайте к маме, но секретно: как бы чего не вышло.

Тем не менее поехала я не одна, а с мужем и заместительницей декана – она, что называется, “от организации”. Мы с ней сразу же отправились оформлять бумаги на переезд в Пекин, а мой муж Лю Хэчжун напрямик к маме. Тут же все зашевелилось, даже заглянуло местное начальство, предложило помощь в сборах, но не только.

– Не хотите на прощание посмотреть достопримечательности? Мы вам машину дадим.

Дают – бери. Подогнали что-то вроде джипа старого военного образца. А эта местность считается родиной известного исторического деятеля, полководца Гуань Гуна, которого впоследствии “возвели” в ранг божества, – сначала он стал почитаться как бог войны, а потом и как бог богатства. Его статуэтки, фигурки стоят во многих храмчиках. Заключенные на время “культурной революции”, они в 1970-х всё еще были закрыты, однако нам позволили прогуляться по храмовой территории. В общем, мы почувствовали, что постепенно возвращаемся к прежней жизни. И да, нам купили билеты в мягкий вагон!

Павлик был маленький. Когда он услышал, что мы поедем в мягком, то сказал: “Бабушка, я не хочу в мягком. Мы там провалимся”.

4

К моменту возвращения в Пекин мама уже знала о смерти отца. Я долго не могла решиться на разговор с ней – понимала, что она не хочет верить в плохой финал и всюду ищет признаки надежды. Например, в домике, который ей был выделен в провинции, стояла большая двуспальная кровать. На самом деле, просто потому, что китайцы любят большие кровати. Но мама мыслила иначе, в русской логике: раз двуспальная, значит, она будет не одна. Или другой

пример. Ей прислали со склада одежду, привезли чемодан. Когда она его открыла, там сверху лежали отцовские брюки: по ошибке сунули. А мама решила, что они уже готовятся к его возвращению.

Я все оттягивала и оттягивала. И меня подтолкнула жена Эми Сяо, Ева. Мы с Лялей в очередной раз пришли к ним в гости, и она меня спросила в лоб:

- Инна, мама что, до сих пор не знает, что отца нет в живых?
- Не знает.
- Почему ты ей не скажешь?
- Они сказали, что они сами сообщат.
- Ты, Инна, им не верь.

И рассказала, что у них была знакомая немка в Москве; муж ее, китаец, пропал во время сталинских репрессий. Никто ей ничего не сообщал, после 1949 года она даже приезжала в Китай, пыталась навести справки, и тоже – фигура умолчания. Лишь когда начались реабилитации, она поняла, что его нет в живых. Через долгие-долгие годы. И это был для нее двойной удар: известие о смерти и сознание, что столько лет было отдано ложной надежде.

- Так что ты обязана маме все объяснить. Больше никому.

И как раз на Праздник Весны 1976 года, когда я наперекор всему поехала к маме, я решила, что все ей скажу. В один из первых вечеров осторожно завела разговор:

- Мам, ты хочешь знать правду об отце?
 - А тебе что-то известно?
 - Мам, я должна сказать тебе: его нет в живых.
- Пауза. Мама никогда не плакала.
- И давно?
 - Он погиб 22 июня 1967 года.

То, что это было так давно, стало для нее дополнительным ударом. Она отвернулась к стене. Очень долго молчала. А потом говорит мне:

- Я в общем-то уже это чувствовала.

Конечно, она же умная женщина, не могла не догадываться, но вопреки всему надеялась, мечтала, что на старости лет они с отцом будут все-таки вместе. Многие старые товарищи папы были реабилитированы; уцелевшие жили, как правило, долго. В любом случае, как говорила мама, если бы он дотянул до оправдания, то уходил бы из жизни с совсем другим чувством.

5

В ноябре 1978 года состоялся пленум ЦК, после которого реабилитация жертв “культурной революции” стала необратимой. Но за полную реабилитацию Ли Лисаня пришлось еще повоевать, поскольку политика “освобождения” встречала мощное сопротивление.

К нам приезжали люди из орготдела, пытались согласовать заключение по делу отца. Мы были возмущены: они хотели сохранить формулировку, что он нарушал партийную дисциплину, то есть маме секреты разбалтывал. А главное, настаивали на фразе: “Умер по болезни”. Какая болезнь?!

Мы отказываемся это принять. Тогда они нагло, с вызовом спрашивают: “А что, вы хотите, чтобы мы написали, что он покончил с собой?” Потому что самоубийство считалось тогда преступлением против партии. Я отвечаю: “Обстоятельства не выяснены до конца. И если даже самоубийство, его же заставили, его вынудили, он в результате репрессий ушел из жизни. Пишите: погиб в результате репрессий”. И мы очень долго боролись за изменение текста.

Конечно, нам помогали близкие мамыны подруги. Одну из них, по-русски ее звали Анна Васильевна, мама именовала “наш юрконсульт” (наряду с мамой она стала основоположницей русистики в Китае, но в отличие от мамы была партийной деятельницей, директором Института русского языка в Харбине). Она помогала составлять письма и жалобы, пока мы не пришли к приемлемому результату и не была назначена дата проведения траурного митинга. Потому что в Китае реабилитация происходила в форме публичных траурных собраний, о которых печатали в “Жэньминь жибао”; был митинг, появилась информация, значит, человек оправдан, его честное имя восстановлено. 20 марта 1980-го, в мамин день рождения, состоялась церемония с участием высшего партийного руководства. На кладбище Бабаошань была установлена урна с очками и круглой печатью отца. Кремировать было нечего, останки его так и не нашли.

До этого момента люди очень по-разному к маме относились. Некоторые, я уже говорила, приходили навестить, выражали радость. Другие осторожно улыбались и кивали издали. А третьи, как мама выражалась, в упор не видели. Когда ситуация стала проясняться, они вдруг прозревали, тоже начинали кивать, изображая подобие улыбки. А как только политика партии определилась окончательно, даже стали подходить и восклицать:

– Ой, Елизавета Павловна, мы так рады, что вы наконец-то вернулись.

6

Поначалу мама поселилась с нами. Мы занимали три комнаты по 11 метров, что по тогдашним китайским меркам считалось нормальным, но на самом деле было довольно тесно: я, муж, двое детей, мама, Алла, плюс двоюродная сестра мужа, которая за Димой приглядывала.

Мама, как настоящая русская женщина, тут же стала наводить порядок. Мыла общественный туалет, драила лестницу, протирала

перила. К ней в это время потянулся поток людей: друзья, бывшие студенты, коллеги. Среди прочих навестил ее немолодой русист, который был когда-то переводчиком Мао, отсидел и тоже недавно вышел из тюрьмы; по-русски он говорил чистейшим образом. Некоторые гости были потрясены переменами, произошедшими с мамой: они-то помнили гранд-даму, которая царила в партийном особняке, а тут она полы оттирает.

Работу ей дали не сразу; возвращали в строй постепенно. Сначала смиловился Второй институт иностранных языков, где тогда работала Алла, – организовали маме редактуру на дому. Через год, в 1980-м, когда нам вручили справку о полной реабилитации отца, маму допустили до студентов. Тем более что после десятилетнего перерыва институты возобновили прием абитуриентов по направлению с работы или из армии. (Наш, мидовский опыт был исключением.) Позже появился конкурсный набор. В нашем институте готовили мальчишек на будущих военных переводчиков, о чем нам прямо не сообщали, но мы догадывались. Была восстановлена система ЕГЭ.

В соответствии с тогдашними правилами маме выплатили зарплату за все годы вынужденного тюремного “простоя”. Так что по тем временам она получила большие деньги. И встал вопрос, а как бы ей устроить отдельную квартиру. Может быть, восстановить статус иностранной специалистки? У нее, конечно же, китайский паспорт, но подобные примеры были. Однако мамины подруги возразили: “Ну, что ты, Лиза! Ты вдова Ли Лисаня. Ты можешь получить больше”. И мама пожаловалась в орготдел, что ей практически негде жить, пришлось подселиться к детям, в общежитие.

Я опять поехала к Ху Яобану.

Статус его изменился, но жил он все там же, в глубине хутонов, старых пекинских переулков. У него не было особой охраны. Вообще, после “культурной революции” все было куда проще, доступнее, чем сейчас. Скажем, когда мы с мамой первый раз после “культурки” попали в цековский санаторий, большинство вилл стояли пустыми, народу мало. Забрели далеко, обратно пошли по берегу моря; он тоже совершенно пустынный, только какая-то группка народу на пляже. Проходим мимо, нас никто не останавливает. А буквально в 3-5 метрах от берега плавают Дэн Сяопин.

В этот раз, направляясь к генеральному секретарю, я взяла с собой Павлика, старшего сына. Ему было лет шесть или семь. Вахтеру мы сказали, что идем к невестке генсека, и нас легко пропустили. Около дома стояла огромная машина, на каких ездили члены Политбюро.

Говорю невестке:

– Вот, принесла еще одно письмо.

– Знаешь, Ху Яобан не сможет с тобой поговорить, к нему приехал Хуа Гофэн.

А тогда Хуа Гофэн еще был первым лицом, председателем партии, преемником Мао. Его сняли позже.

Мы потрепались немножко с невесткой и ушли. Никто не поинтересовался, кто это заявился в дом генсека в тот самый момент, когда у него в гостях председатель; как-то все просто было. Правда, простота продержалась недолго – может быть, пять лет, может быть, семь.

Так мы и получили квартиру в новом доме на главной улице Пекина. Пришли осматривать жилье и никак не могли заставить себя уйти. Даже консьерж поднялся посмотреть, что мы там так долго делаем.

Примерно тогда же мы с мамой читали “Крутой маршрут” Гинзбург, где она описывает, как вышла на вольное поселение где-то в Магадане, снова увидела унитаз в доме и почувствовала приступ настоящего счастья.

7

Отставание Китая – интеллектуальное, технологическое, экономическое – ощущалось тогда очень остро. Кто-то из китайцев с завистью сказал: “Мы столько перенесли потрясений, а Советский Союз все эти годы, как огромный корабль, упорно и твердо шел вперед”. Жители тогдашнего СССР вряд ли с этим согласились бы, но тут смотря с чем сравнивать.

Нужно понимать, до какой степени убожества нас довели плановой экономикой, “культурной революцией”, кампаниями и экспериментами. Карточная система, включая хлопчатобумажные ткани, трикотаж, носки. Я всем говорила: “Как хорошо, что у нас есть старые запасы одежды”. Села за швейную машинку, стала что-то перешивать для себя, детям шить. С едой тоже были проблемы – в месяц давали килограмм мяса, плюс можно было покупать немножко мясного фарша. Яйца – нормированно. Заходишь в магазин, он совершенно пустой, как в России на излете перестройки. Стоят продавщицы болтают, делать им нечего. Даже овощей не было. Просто истерический смех.

И вдруг в начале 1980-х коммуны исчезли; крестьяне стали выписываться из них. Их попытались задавить, но Дэн Сяопин крестьян поддержал, после чего они мгновенно разбежались, перешли на семейный подряд. На следующий год весной вдоль главной улицы Пекина, практически на мостовой, появились развалы: крестьяне привозили на тележках зелень, овощи и сами продавали. Еще через год торговлю упорядочили, запретили ее на главной улице страны, вместо этого устроили оптовые рынки, появились посредники... А поскольку Китай сделал ставку на экспорт, в магазинах стали продаваться какие-то остатки от него. Экспортные наряды, конечно, были симпатичнее и, как ни странно, дешевле обычной одежды. Так постепенно все и пошло.

Когда стали отменять карточки, народ реагировал нервно, опасаясь, что опять обманут. Объявили, что с такого-то дня отменят карточки на ткани; накануне люди бросились в магазины и отоварили все карточки. Приняли решение отменить карточки на мясо (и на всякий случай накануне продлили работу магазинов до полуночи) – покупатели смели с прилавков всё.

То же и с модой. Когда-то я тщетно пыталась найти себе хоть что-нибудь приличное, нестандартное к свадьбе. А теперь появились пижоны, носившие брюки клеш и большие темные очки с неснятыми наклейками. Отпускали длинные волосы. Те, кто мог себе позволить, ходили с огромными японскими магнитофонами. Появились частные парикмахерские, в диких халупах, недалеко от нашего университета; забегаловки, харчевки, ресторанчики. Очень быстро, очень успешно – среди прочего потому, что власть не придиралась, смотрела сквозь пальцы на все, включая антисанитарию. Хочешь зарабатывать – вперед и с песней.

А маме все-таки восстановили статус иностранной специалистки, вместе со всеми положенными льготами. В частности, у нее теперь была книжечка, с которой можно было ходить в так называемый магазин “Дружба”, который открыли еще в 1950-е для советских специалистов, позже – для всех иностранцев. Он работал даже в годы “культурной революции”, но туда пускали на основе фейсконтроля. Если человек похож на иностранца, то у него даже не спрашивали документы. Семейство Эми Сяо пользовалось этим, но в результате влипло в неприятную историю. Младший сын поэта попался на том, что покупает игральные карты, которые в “культурную революцию” запретили. А он был просто молодым рабочим на заводе и, пользуясь “смешанной” внешностью, приобретал колоды для дружков-приятелей. В итоге его отследили, вызвали милицию. И на этом путь в “Дружбу” был ему заказан.

Менялось отношение к деньгам. С 1949-го до конца “культурной революции” пропаганда твердила, что мы работаем не ради денег, а ради идеи, и почти все в это верили. Сколько платят, столько и платят. С другой стороны, китайский крестьянин всегда был прагматичен, да и культ богатства существовал веками. И как только Дэн Сяопин сказал “обогащайтесь”, народ зашевелился, люди бросились зарабатывать. Мы, интеллигенция, конечно, очнулись последними.

Были молодые ребята, которых со школьной скамьи отправили в деревню, на нашу китайскую целину: они после “культурки” вернулись в Пекин, без высшего образования, без ремесленных навыков. Ничего не оставалось, как пуститься в бизнес. В самом бойком районе, возле вокзала, стали чай продавать; дело пошло, открылись чайные... Другие стали мотаться на границу с Гонконгом, челноками. Появился центр контрабандной торговли на юге Китая, город Вэньчжоу. Напротив – Тайваньский пролив. Вэньчжоуские рыбаки выходили в море, но не

ловили рыбу, а встречались с тайваньцами и меняли всё на всё. Особенным спросом пользовались старые серебряные монеты начала XX века, большие, с изображением Юань Шикая, который тщетно попытался стать императором. Монет этих было много на руках у населения, но у нас они никому были не нужны. И китайские рыбаки меняли мешочек монет на мешок дешевых кварцевых часов тайваньского или гонконгского производства. Перепродавали часы втридорога, так что никто внакладе не остался.

В конце 1980-х из деревни люди потянулись в город. Женщины нанимались, как сейчас говорят, в домашние помощницы, а попростому – в прислугу. Мамин дом не стал исключением; она теперь жила в китайском “Доме на набережной”, где в каждой квартире в “культурку” кто-то сидел, а то и двое, и трое. Подсчитали, что, если сложить тюремные сроки жителей этого дома, получится девятьсот лет. А в отличие от хрущевской реабилитации, в Китае после возвращения из тюрем и ссылок всех дееспособных восстановили в прежних должностях, да еще и выплатили деньги за отсидку. То есть они опять могли себе позволить домработниц.

С другой стороны, нарастала инфляция; зарплата за ней не поспевала. Даже я, которая неплохо получала, тоже чувствовала себя ограниченной. Стали разрешать выезд за границу, но у большинства людей не было денег на это (хотя появился черный рынок валюты). Пока наши челноки мотались в Гонконг, в Китай зачастили поляки. Образовался палаточный рынок, в центре нового посольского квартала, и действовал там многие годы. Потом поляки как-то враз исчезли, и на смену им пришли русские челноки – в самом конце 1980-х – начале 1990-х годов.

8

В 1970-е на главной улице появилась стена, которая отгородила замороженную стройку; стену использовали для дацзыбао, Мао Цзэдун называл это “большая демократия”. Демократия кончилась тем, что парня, который написал и разместил на стене текст против Дэн Сяопина, посадили, а стену снесли то ли в 1981-м, то ли в 1982-м. Его впоследствии объявили первым китайским диссидентом, разрешили выехать в Америку на лечение, где он благополучно растворился.

Мы с мамой были изумлены тем, что почти у всех наших знакомых, особенно преподавателей, вдруг нарисовались родственники за границей. У кого-то в Англии, у кого-то в Америке, у кого-то в Японии, у кого-то в Гонконге. А у одной нашей коллеги даже на Берегу Слоновой Кости: ее сестра жила на Тайване, муж был бизнесменом, и они решили перебраться на берега Гвинейского залива. Те, кто ехал в Америку, могли отсутствовать до полугода, им давали отпуск; считалось, что это

так далеко и так непросто... На Тайвань, конечно, не пускали. Но с тайваньскими родными все встречались на нейтральной территории, в Гонконге, который был тогда еще британским.

Только в советское посольство мы не смели ходить до последнего; СССР не Америка, с ним отношения были ужасные. Единственное, на что мы решились, – купить антенну, которая принимала советское телевидение. Такие антенны называли “пушки”: они имели вид спиралей, накрученных на стержень. Нужно было вызвать мастера, поймать правильный градус наклона, закрепить на балконе и принимать картинку. Но еще до этой самой “пушки” мы смогли прорваться сквозь телевизионные границы: одна наша молодая знакомая работала в госкомитете по делам спорта и отвечала за то, чтобы записывать с помощью (японской, скорее всего) техники иностранные спортивные передачи. Не было никаких иностранных тренеров, мало возможностей участвовать в международных соревнованиях, поэтому спортсмены учились по записям. И как-то она предложила:

– 7 ноября – воскресенье. Когда в конторе никого не будет, приезжайте, вместе посмотрим парад на Красной площади.

Подхватились мама и Алла, я взяла своих детей, засели в ее кабинете и с восторгом смотрели парад.

А когда к Эми Сяо приехал старший сын, который жил в Москве, мы тоже решили: пора. Тем более что наши московские родственники разыскивали маму, даже в Красный Крест обращались. И наконец добыли адреса, стали с нами переписываться. Мы договорились, что для начала съезжу я – и началось оформление загранпаспорта. Я десять месяцев его ждала, а потом еще десять – когда моему двоюродному брату Толе оформят вызов на меня. Через двадцать месяцев (уже Андропов успел воцариться) я заявила в посольство – с паспортом и с приглашением.

В консульском отделе тишина и благорастворение воздушных масс, ни одного посетителя. Диван, кресло; помещение отгорожено от других комнат стенкой. Сидят какие-то девушки за столиком, только что чаи не гоняют. Я спрашиваю:

– Простите, я по поводу получения визы в Советский Союз. К кому мне обратиться?

У них глаза на лоб лезут. Смотрят, как на марсианку.

– Что, простите? Визу?

– Да.

– Ой, минуточку.

И уходят за дверь.

Появляется другой сотрудник, явно рангом повыше. Усаживает меня в кресло, предлагает чай, конфеты “Красная Шапочка”, расспрашивает, что и как. Когда доходит до вопроса, кто родители, я называю: Ли Лисань.

- А! Так вот оно что! - говорит он в полнейшем изумлении. - Извините, я сейчас вернусь.

И опять оставляет меня одну. Жду, жду. Теперь входит другой человек, помоложе. Явно какого-то низкого ранга. И несет в руках большую книгу, старую, регистрационную, заполненную от руки. Открывает: "Посмотрите, пожалуйста. Это вы?" Там моя фотография - совсем еще девчонка, и моя подпись.

- Да, это я.

- Очень хорошо. А вы знаете, - тут он принимает серьезный вид, - что по нашим законам вы остаетесь советской гражданкой?

- У меня давным-давно китайский паспорт.

А про себя подумала: где вы были со своим гражданством, когда я сидела в тюрьме?

Посольский пытался настаивать. Я в ответ даже повысила голос.

Тут он словно испугался и попятился за кулисы. Через минуту-другую возвращается сотрудник, который со мной чай пил, начинает успокаивать:

- Вы, пожалуйста, только не волнуйтесь. Он у нас молодой, неопытный. Всё нормально. Мы вам визу с китайским паспортом оформим.

И в мае 1984-го я впервые после "культурной революции" выехала в СССР.

Глава 9

В Москву! В Москву!

1

На этот раз мы ехали китайским поездом через Монголию.

И вот первая русская станция, крошечный полузаброшенный поселок; поезд прибыл ночью, мы с мужем вышли - огляделись, ужаснулись: ни души, пусто, почтовое отделение закрыто. А мы во что бы то ни стало должны были получить денежный перевод от двоюродного брата Толи: в Китае поменять юани на рубли было тогда невозможно, так что у нас ни копейки советских денег. Чудом разыскали женщину, работавшую на почте, разбудили ее, и пока нашему составу меняли колеса под советскую колею, получили перевод. На другое утро мы проснулись, поезд подъезжал к Улан-Удэ; я гляжу в окно, а вдоль путей стоят какие-то строения, маленькие, низкие, но при том не сараи. Зачем они? Я не знала, что такое

индивидуальные гаражи: в тогдашнем Китае не было частных машин, откуда взяться таким гаражам.

Но в целом не могу сказать, чтобы та поездка меня особо вдохновила. Вернувшись в Пекин, я обобщила свое впечатление так: люди, может быть, стали жить лучше. Когда я училась в 10-м классе, в основном были коммунальные квартиры. Сейчас у родственников отдельное жилье, хрусталь, ковры. Но общий уклад жизни – темы бесед, интересы – все такое же, как раньше. Никакого движения, никакого развития. А мы за это время столько пережили. И даже, несмотря на всю китайскую специфику, куда свободнее обсуждали пути дальнейшего движения, в газетах писали о казарменном, феодальном социализме... Умы кипели. А тут большинство родных и друзей, как только начинались политические разговоры, сразу уводили тему в сторону.

И вдруг началась череда похорон генсеков. Андропов правил недолго, Черненко еще короче. Каждый раз Китай присылал своего представителя, постепенно повышая статус: с Брежневым прощался посол, с Андроповым кто-то из партийного начальства, а в день избрания Черненко я ехала в пекинском автобусе и слышала, как пассажиры говорят: “Интересно, когда он помрет, кого от нас пошлют?”

Наконец, настала эра Горбачева. Навсегда запомнила его владивостокскую поездку. Мы с мамой в тот день заболтались, телевизор не стали включать; вдруг распахивается дверь, на пороге стоит мой десятилетний Дима и осуждающе спрашивает:

– Вы что же, Горбачева не хотите слушать?!

Он оказался прав: в горбачевской речи прозвучала китайская тема, он фактически протянул Китаю пальмовую ветвь. Вскоре нас с мамой как русистов стали приглашать на посольские приемы. Конечно, все было гораздо более сдержанно, чем сейчас. Один раз работники посольства попробовали прозондировать почву, насколько я “своя”, и спросили, читала ли я книгу Владимирова “Особый район Китая”. Имелись в виду так называемые яньаньские дневники кадрового разведчика Парфена Власова, который работал под журналистским прикрытием и печатался под фамилией Владимиров. Книга вышла в 1973-м огромным тиражом, в ней разоблачался Мао, рассказывалась история отстранения от власти партийных конкурентов будущего кормчего, прежде всего Ван Мина.

– Читали? Что о ней думаете?

– Мне, может быть, трудно судить, – ответила я осторожно. – Но подруга моей мамы, которая лично знала Владимирова, очень сомневается в том, что это все он сам писал. Потому что, по ее воспоминаниям, он был совсем другим человеком.

Собеседник слегка скривился, но потом один из китаистов (возможно, в погонах) признался мне в личной беседе: “Да, наши ребята хорошо над этой книгой поработали”.

Кстати, о погонах.

В следующий раз я отправилась в Москву в составе официальной делегации. Работа была закончена, до отлета оставался целый день, и руководитель делегации отпустил меня: “Можешь навестить родных, друзей, главное, к выезду в аэропорт не опоздай”. Я была просто счастлива! Посетила три – четыре семьи. Но, куда бы я ни приезжала, всюду появлялся какой-нибудь незванный гость. В одном доме вдруг ни с того ни с сего зашла соседка. В другом заглянул молодой друг сына. Причем хозяева и сами удивлялись, а чего это вдруг. Видимо, за мной шли по пятам, отслеживали мои передвижения, хотя скрывать мне было нечего.

2

Мальчики мои ходили в китайский детский сад, после него – в китайскую школу, но я все делала для того, чтобы сохранить для них оба языка. Не только и не столько потому, что заботилась об “идентичности” (такого слова мы тогда не знали), но прежде всего потому, что человек, полноценно владеющий двумя языками, на мой взгляд, интеллектуально состоятельней. Я всегда вспоминала, что в дворянских семьях, где были гувернантки – француженки, англичанки или немки, дети даже в отрыве от языковой среды становились билингвами. Так почему я не могу выступить в двойной роли для собственных сыновей? В роли китайской матери и русской гувернантки? Когда родился Павлик, я предупредила мужа, что каждый из нас будет говорить с ним на своем природном языке; муж осторожно спросил: “Может быть, ограничимся семьей? А где-то вне дома порусски не нужно?” Я ответила: “Посмотрим”. Да, тогда это не одобрялось, но я не сдавалась, и мне это сходило с рук.

Правда, случилась неприятная история. Общежитие Бэйвая успело превратиться в коммуналку с большим коридором, в который выходят двери, и общей кухней. Комнаты не запирались; Павлик носился по коридору, запросто забежал в комнаты, играл на кухне. А тут мы сходили в ресторан “Москва”, который заново открылся после “культурной революции”, и это произвело на трех-летнего Павлика такое большое впечатление, что он все время повторял по-китайски: “Москва, Москва! Я москвич, я москвич!” Кто-то из соседей настучал. Через несколько дней меня вдруг вызывают в партбюро факультета, хотя я в партии не состояла. Начинается унылая беседа о том, как правильно воспитывать сына, чтобы у него преобладали патриотические чувства. Не особенно влетело, но некое внушение мне сделали.

Но год от года положение с русскими – и русским – в Китае улучшалось: мы, китаруски, стали собираться вместе, устроили подобие

воскресной школы для детей, проводили дома новогодние елки. А в 1989-м я Павлика и Диму привезла в СССР, отдала в здешнюю школу и задержалась в Москве на шесть лет, вплоть до 1995 года, пока Дима не пошел в университет. Я даже думала, что стоит получить вид на жительство, но для этого где-то нужно было прописаться, а родственники, скажем мягко, очень трепетно относились к идее прописки, тем более что у меня два сына. В общем, поняла, что лучше не затевать это дело.

Кстати, в тот самый момент, когда мы пересекали с детьми китайско-советскую границу, я сказала им:

– Ребята, мы едем в Москву. Вы будете там целиком в русской среде. Но я не хочу, чтоб вы забывали китайский язык. Давайте договоримся так. Мы всю жизнь дома говорили по-русски, а с этого момента будем говорить только по-китайски.

И все годы, пока я была с ними в Москве, мы следовали этому правилу. Вернулись в Китай – снова стали говорить по-русски.

3

Так что путч 1991-го я прожила в России. Все эти дни у меня гостила подруга, которую я уже упоминала, полуангличанка, получешка Яна; ее мама преподавала английский в Пекине, а Яна училась в советской школе, пока не уехала в Англию, где окончила Оксфорд и стала византисткой. Я помню все – “Лебединое озеро” по телевизору, дрожащие руки Янаева. Подруга металась, она же девушка активная, не могла остаться в стороне; кому-то звонила, узнавала, что там, в Белом доме, предлагала помощь, что-нибудь привезти, передать. Один раз меня притащила к Белому дому, оцепленному со всех сторон... А меня накрыл настоящий ужас – я же видела пекинские события 1989 года, знала, чем подобная история может кончиться. Тем более что мы жили в районе “Динамо”, слышали, как шли танки ночью к Белому дому. Стала лихорадочно думать, куда же срочно уехать – клетка может захлопнуться, мы такое уже проходили. В Китай возвращаться пока не хотелось; подруга, тоже китаистка, звала к себе в Ригу. В крайнем случае поеду к ней. Или куда?

А 1993-й... Я переживала больше за детей. Потому что я сидела дома и смотрела по телевизору, трагедию давали в прямом эфире. А мальчишки пошли в школу. Возвращается Дима. Позже обычного, возбужденный.

– Мама, а я все видел!

– Что ты видел?!

– А мы поехали в тот район, залезли на крышу. И с крыши смотрели.

– А Павлик где?

– Не знаю. Наверное, тоже там.

Вскоре, слава богу, Павлик возвращается в состоянии эйфории.

– Мам, а я там был. Я под мостом лежал. У меня пули возле уха свистели.

4

А теперь пришла пора вернуться из 1993-го в 1989-й и коснуться сюжета, о котором до сих пор трудно говорить.

Китай 1980-х менялся радикально, опережая даже самые затаенные надежды людей. Поголовная реабилитация всех пострадавших за тридцать лет, возвращение молодежи в город, воссоединение семей, возможность учиться, открывать свой бизнес, а для крестьян работать на своем участке земли – все с головой бросились в эту новую жизнь. Леваков прижали, их политическая энергия была исчерпана, интеллигенция только-только начала выходить из ступора “культурной революции” и не желала потрясений.

Так что брожения до поры до времени не бы-ло. Случались выступления против инфляции, коррупции, но не массовые, и как-то быстро все сходило на нет. Спокойно, почти незаметно нарастала открытость, появлялись элементы демократии. Подрастало новое, “непоротое” поколение. Нельзя сказать, чтобы студенты были очень недовольны, просто, как свойственно юности, хотели опередить события.

Но произошла отставка Ху Яобана, обострились разногласия внутри политбюро. Ху Яобан воспринимался как борец за справедливость и поборник демократии, сторонник реформ. Когда его отставили, возникло некоторое напряжение, а спусковым крючком для серьезных волнений стала его смерть. Поползли слухи, что его довели, обошлись жестоко. Чем быстрее распространялись эти слухи, тем торжественнее было обставлено прощание с ним; чем торжественней прощание – тем сильнее слухи. Типа неспроста, хотят вину загладить. Прощались в Доме народных собраний; стекались толпы народа – по доброй воле, никакого принуждения, даже не всех пускали – студенческим делегациям было отказано, что отчасти послужило детонатором. Когда мы вышли из зала и сели в машину, я заметила, что нечто необычное творится в городе. Китайцы все дисциплинированные, особенно на фоне траура, а тут народ стоит прямо на мостовой, посреди главной улицы, и оставлен только узкий коридорчик для машин. Беспокойство просто висело в воздухе.

Чем-то все это напомнило январские события 1976 года, о которых мало пишут, но которые окончательно продемонстрировали провал “культурной революции”. Тогда прощались с Чжоу Эньлаем; его тоже воспринимали как заступника, он как бы срифмовался с народной мечтой о справедливости. Более того, многие считали, что на нем и

держится страна, только он может спасти ее от развала, разрухи, хаоса. Прощальная церемония в тот раз проходила в узком кругу. Но когда тело Чжоу Эньлая повезли на кремацию, народ тоже вышел на главную улицу. Все стояли тихо, никто не мешал ничему, но через три с лишним месяца, в начале апреля, когда китайцы отмечают день поминовения усопших, начались волнения. Студенты понесли на площадь Тяньаньмэнь венки в память Чжоу Эньлая, возложили к памятнику героям революции. На этом не остановились: держали плакаты против “банды четырех” в целом и Цзян Цин лично, выкрикивали в рупор речи на ступенях памятника и кучковались на огромной площади, где может поместиться больше миллиона человек.

“Четверка” еще находилась у власти, быстро организовали разгон с помощью так называемых народных ополченцев и, видимо, переодетых силовиков и полиции. Но даже тогда не удалось запустить серьезную кампанию против несогласных. Нас, как и многих, собрали; парторг зачитал обращение, спущенное сверху, и предложил каждому выступить с разоблачениями и саморазоблачениями. В ответ – гробовое молчание. Подождав несколько минут, парторг вздохнул:

– Ну, хорошо, товарищи, я понял. Никто нигде не был, и никто никого не видел. На этом заканчиваем наше собрание.

С чего-то подобного начались и события 1989-го. Смерть популярного политика с ореолом гонимого, сгущение атмосферы, гнев студенческих организаций, не допущенных на прощание, дацзыбао и плакаты в кампусах. Скорее эмоции, чем какие-то объективные причины. И в мае месяце все выплеснулось из кампусов на ту же площадь Тяньаньмэнь. Не желая расходиться, студенты поставили палатки, жили в них. А по улицам Пекина прокатилась волна демонстраций; некоторые юные протестующие объявили голодовку.

Я не политический мыслитель, поэтому не даю оценок, не делаю выводы; я просто наблюдала за событиями изнутри – и очень близко принимала их к сердцу. Скорей всего, если бы дело ограничилось студентами, протест захлебнулся бы сам собою, и дело до трагедии не дошло бы. Но для китайцев дети – святое, особенно если они учатся, а семья ими гордится. И тут эти самые дети объявляют голодовку. Надо их как-то поддержать! И самые простые люди стали присоединяться к протестам; весь Пекин был охвачен волнением – и это продолжалось долго, больше месяца.

У нас считается, что было разжигание извне. Как раз в разгар протестов состоялся официальный визит Горбачева в обстановке небывалой открытости – и всем иностранцам позволили вести репортажи с места. Предполагалось, что торжественная церемония в

честь дорогого гостя пройдет на центральной площади: он главный, она главная – как же иначе? *CNN* установил антенну для прямой трансляции непосредственно на Тяньаньмэнь. Церемонию из-за протестующих перенесли, но антенна осталась, журналисты поселились рядом, в гостинице “Пекин”, других отелях. И вели постоянные репортажи, поднимая градус протеста. Апогеем событий стало применение военной силы против “контрреволюционного мятежа”. Это, конечно, самая тяжелая страница в жизни людей моего поколения. Как минимум одна из самых тяжелых. Хотя, как вы уже знаете, я много чего в этой жизни повидала.

В ту страшную ночь я была у себя в кампусе. Все мы собрались на институтском стадионе; кто-то на велосипедах мотался в город и обратно, докладывали обстановку. Оба сына были со мною. Но до нас доходили слухи, что основные потрясения происходили именно на той улице, где живет моя мама, их бабушка Елизавета Павловна. Дом номер 22. Наутро мы первым делом отправились туда, к маме. Слава богу, она была цела и невредима.

Много чего было в истории народного Китая, но такое впервые. Я до сих пор не готова вспоминать детали. Для китайской интеллигенции, разумеется, сильнейший шок. Но, знаете, что помогло нам выйти из этого шока? События в СССР, его самораспад. Большинство пришло к убеждению, что в Китае все могло пойти гораздо хуже. Китайцы, которые приезжали потом в Москву, сокрушенно говорили:

– Здесь ситуация, как у нас в “культурную революцию” плюс три года наших трудностей.

Три года трудностей для китайцев – это когда у нас был голод после народных коммун. А “культурная революция” – это прежде всего хаос. Китайское государство вышло победителем, и интеллигенция с этим смирилась.

6

С начала 1980-х многие молодые люди старались уехать за границу; появились государственные программы, с помощью которых можно было поступить на учебу в западные, прежде всего американские университеты; частным образом в эмиграцию устремились дети элиты. Дэн Сяопин тогда сказал: пусть уезжают, даже если большая часть останется, все равно многие вернутся, на пользу Китаю. Не все этому поверили, потому что в глобальную державу Китай стал превращаться лишь на рубеже 2000-х, а в начале 1990-х был серьезный спад. Санкции со стороны мирового сообщества обернулись кризисом в экономике. Самый неприятный период я провела в Москве, своими глазами не видела, но друзья приезжали и жаловались на гнетущую атмосферу. Надо отдать должное Дэн Сяопину, он сумел развернуть страну в

сторону реформ и остановить леваков, которые после 1989-го подняли голову, стали требовать возврата к плановой экономике.

И тут я скажу неожиданную вещь. “Культурная революция” обернулась множеством ужасов, в том числе для меня лично. Но при этом, выражаясь казенным языком, она раскрепостила не только молодежь, но даже старшее поколение, к которому принадлежал тот же Дэн Сяопин. Люди, включая партийных лидеров, перенесших репрессии, стали думать по-другому, разорвали с косной традицией, поняли, что нужно многое менять. А что менять, как менять, до какой степени менять – это уже, конечно, зависело от их выбора и готовности.

И когда китайские реформы все-таки начались, это людей успокоило, они почувствовали, что есть шанс, – потому что долгое время в обществе царило разочарование. Люди, почти как в России, говорили, что никакой надежды нет, “в этой стране ничего хорошего не будет, надо валить”. А потом поверили, что и здесь можно жить. Поэтому и не было, я бы сказала, сильной волны антикоммунизма. Вопрос состоял не в том, сметать все или сохранять все, а в том, как именно меняться, до какой степени, за счет чего. Китайцы же, как я уже сказала, прагматичней русских. Для них идеологические формулировки не так важны, как приемлемый уровень жизни; хоть горшком назови, только в печь не сажай – даже странно, что эта пословица родилась в России, а не в Китае. В понятие “китайской специфики” можно вложить все что угодно, она готова принять все, что работает.

7

Мама ко мне приезжала обычно месяца на два. Могла бы и подольше пожить в Москве, я уговаривала ее остаться хотя бы на полгода. Но родственники так болезненно реагировали на происходившее в 1990-е, настроение у них было такое паршивое, что большого желания общаться с ними не было, так что мама стремилась обратно в Китай. В конце концов и я решила, что пора вернуться, и меня снова приняли на то же место в институт, который к этому времени стал университетом.

Павлик при этом в Москве поступил в ИСАА, на японский, но не закончил, решил заняться бизнесом. И мама, и я были против, призывали его доучиться; только он ни в какую. Тогда я сказала достаточно жестко: если бы ты учился, я бы тебя содержала, а теперь давай сам. И он ушел в самостоятельную жизнь, в итоге все равно вернулся в Пекин. Надо сказать, что здесь он нашел свое призвание, стал одним из лучших синхронистов Китая. И теперь благодарит бабушку и меня за то, что мы дали ему русский язык. И Дима, окончивший в России ВГИК, тоже приехал в Пекин; теперь снимает кино

и продюсирует, часто работает в совместных китайско-российских проектах.

С мужем, отцом Димы и Паши, я начиная с 1980-х годов стала чувствовать культурный разрыв. Мы не ссорились, но между нами росла стена недопонимания. Эмоционально тоже расходились дальше и дальше. Но дело кончилось не разводом, а кончиной Лю Хэчжуна: он умер в конце 1993 года, многолетний гепатит перешел в стадию цирроза. Я потом много лет была одна. А в 1998 году появился на горизонте Владимир Вениаминович Агеносов, известный московский литературовед, он приехал к нам в университет на семестр читать лекции о литературе русского зарубежья. В Китае ничего о ней не знали, я пришла послушать тоже, для общего развития. Стали общаться на лекциях, после них... Все-таки в нашем возрасте не так быстро, не стремительно развиваются отношения.

Через несколько лет, когда я была по делам в Москве, рассказала, как женили Диму, кстати, на киевлянке, как проходила свадьба, сколько было человек, Владимир Вениаминович чуточку подумал и сказал:

– Мы не будем на нашу свадьбу приглашать столько народу. Мы сделаем что-нибудь скромненькое.

– Это что? Предложение?

– Ну, можешь считать предложением.

Теперь нужно было пройти процедуру бракосочетания. Мы решили это сделать в Пекине. И тут выяснилось, что в Китае есть отдельный загс для браков с иностранцами, требующий справку из посольства, чтобы не было двоеженства. Владимир Вениаминович прилетел, мы явились в консульский отдел российского посольства, там сидела некая дама, которая до этого работала в Звездном городке в определенном отделе. Она стала изучать штамп, поставленный в СССР, и обнаружила, что в милиции забыли вписать дату.

– Да вы за это время могли двести раз жениться.

(Это было сказано при мне.)

Но мы задействовали знакомых и, в общем, выкрутились.

Накануне заключения этого брака Агеносов приехал в гости.

Входит в квартиру и прямо на пороге гостиной вдруг встает на одно колено перед мамой.

– Елизавета Павловна, хочу просить у вас руки вашей дочери.

Я стою рядом как дура, не понимая, что происходит. Мама тоже обалдела:

– Вставайте, вставайте. А что я должна делать?

Тут подсуетился муж моей сестры Валера:

– Елизавета Павловна, благословить надо.

А чем?

У мамы в гостиной стояла декоративная икона, по-моему, Казанская Божья Матерь. Вьетнамской работы, с инкрустацией на красном

дереве. Валера сует ей в руки икону. И мама так, очень неумело, нас благословляет.

Нужно понимать, что мама, во-первых, не была религиозна; во-вторых, в Китае никогда не было единой религиозной традиции, а были размытые верования. Китайцы могут и сейчас пойти в любой храм помолиться, им по большому счету все равно (за редким исключением). Даосский годится, буддистский тем более. Главное, что у китайца есть конкретная цель, прагматическая: попросить удачи, помощи в серьезном деле. Правда, сейчас появляются интеллигентные ребята, которые уходят в буддистские монахи – буддизм получает вторую жизнь; расширяет свое влияние и христианство. Среди прочего потому, что “культурная революция” расшатала и перемешала все традиции.

Более того, я считаю, что реформы стали возможны благодаря “культурке”, потому что она сломала все прежнее. И архаический менталитет, и партийные структуры, и привычные идеологические скрепы, расчистила почву для любых перемен. Для любых, в любую сторону – и хорошую, и плохую. Правда, начиная с 1990-х годов у нас стали спускать на тормозах все обсуждения “культурной революции”. Мне кажется, это привело к тому, что растет поколение, которое создает новый миф о 1950–1960-х годах, само себе рассказывает сказку о том, что это было царство справедливости, не было богатых, бедных, социального неравенства, всё не как сейчас. Самые радикальные в сетях постоянно призывают решать все проблемы с помощью второй “культурной революции”. Это очень страшно, в отличие от грустной сказки о прекрасных старинных помещиках, которую придумали для себя разочарованные жители села Студёнка в первой половине 1990-х.

8

Что касается того, кто я в итоге этнически и культурно – русская или китаянка... Был у меня китарусский период, был китайский, сейчас я нахожу такой ответ: я китаянка с русским уклоном. Было время, когда две мои этнические половинки вступали в конфликт. Слава богу, сейчас я нашла какую-то гармонию. Оказалось, что мне удобно сидеть на двух стульях: если я оказываюсь заперта в одной культуре, я начинаю задыхаться.

То же и с дворянским происхождением. Мама долго стыдилась его, в 1990-е стала говорить, что, возможно, есть такое понятие, как порода. А я ни туда, ни сюда, мне по большому счету как было все равно, так все равно и осталось. Генеалогия – дело интересное, но главное, что я – это я. Когда в Москве Голицыны воссоздали Дворянское собрание, мой двоюродный брат Анатолий Владимирович Кишкин как-то очень загорелся. Ой, как интересно. Может быть, сходим? Я отказалась: какой в этом смысл? С другой стороны, для китайцев я все-

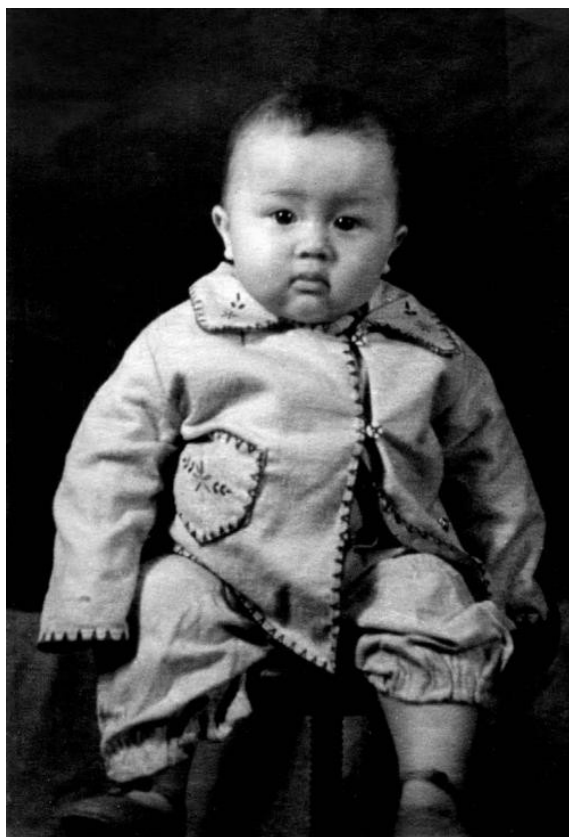
таки дочь Ли Лисаня; это помнят, это знают. Но человек должен жить не за счет родителей, а за счет своих собственных способностей и работы. Поэтому я очень довольна, что смогла стать кем-то в русистике, познакомила китайцев с прозой Людмилы Улицкой, других писателей.

Правда и то, что в Китае по-прежнему существует четкая внутренняя иерархия, которой, может быть, нет уже в России. Если твои родители вписаны в историю, тебя помещают в верхние слои элиты и придают какой-то общественный статус, о котором не позволяют забыть. Поэтому, во-первых, я знаю, кто я. С другой стороны, я понимаю, что это ответственность, у меня нет права опозориться. И я обязана напоминать людям о том, что был такой человек, мой отец, Ли Лисань. И рассказывать о нем как о человеке, а не просто как о политическом деятеле.

Оказавшись в 1990-е в России, я испытала неприятное ощущение, что я не знаю, кто я здесь. Где мое место? Где моя социальная ячейка? Может, это меня тоже подтолкнуло вернуться в Китай. А в Пекине как-то у меня все и наладилось, я почувствовала внутреннюю уверенность, стала снова получать удовольствие от работы и жизни. И до сих пор его испытываю.

Русская культурная традиция как минимум отчасти связана с идеей страдания. А в Китае есть культ счастья, в том числе материального, потому что человек не может балансировать на грани между бездуховным накопительством и духовной безбытностью. Мне родственница подарила на днях вышивку по шелку – как раз иероглиф “счастье”. Есть даже сюжет такой традиционный, каллиграфический: сто иероглифов счастья.

Как это перевести на русский?



Инна Ли.
Москва, 1944 г.



Елизавета Павловна Кишкина, мать Инны. 1929 г.



Усадьба Кишкиных в Студёнке (Саратовская губерния).



Члены Временного правительства России: П. Н. Милюков, дядя Елизаветы Павловны Н. М. Кишкин и А. И. Шингарев. Август 1917 г.



Ли Лисань,

отец Инны. 1933 г.



Ли Лисань и Елизавета.
Москва, 1940 г.



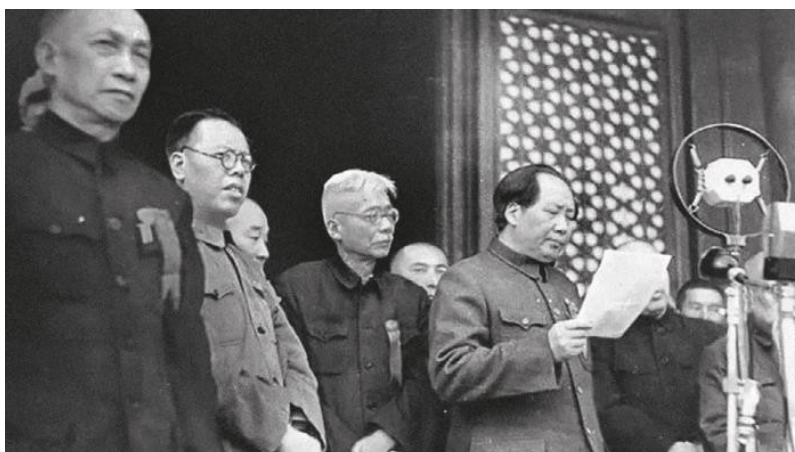
Друзья семьи Ли Лисаня – поэт Эми Сяо с женой Евой Сандберг.



Инна с родителями.
Харбин, 1947 г.



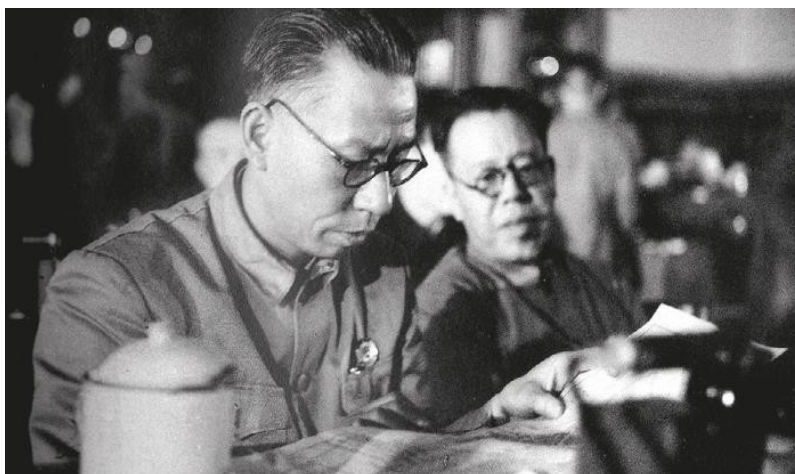
Инна (справа) с мамой Елизаветой Павловной, младшей сестрой
Аллой и бабушкой Прасковьей Михайловной. 1949 г.



1 октября 1949 г. Провозглашение Китайской Народной Республики.
Ли Лисань – второй слева.



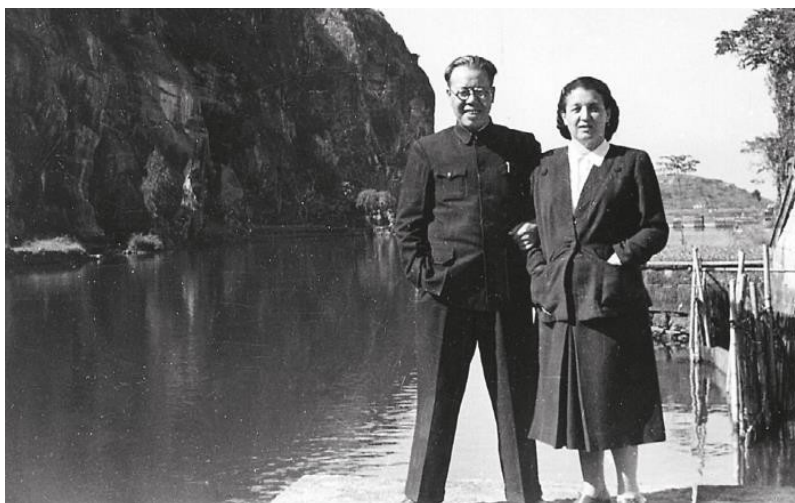
Председатель КНР Мао Цзэдун и один из основателей китайской компартии Ли Лисань. 1949 г.



Ли Лисань (справа) и Лю Шаоци (до начала “культурной революции” – Председатель КНР). 1949 г.



Китарусы (дети от смешанных русско-китайских браков). 1950 г.



Ли Лисань и Елизавета в поездке по югу Китая. 1954 г.



4-й класс советской школы. Инна – на переднем плане. 1954 г.



На встрече с китайскими школьниками.
Инна (справа) переводит для подруги Оли. 1957 г.



Мао Цзэдун и Первый секретарь ЦК КПСС
Никита Сергеевич Хрущев. 1959 г.



Инна с тетей Марусей. Москва, 1960 г.



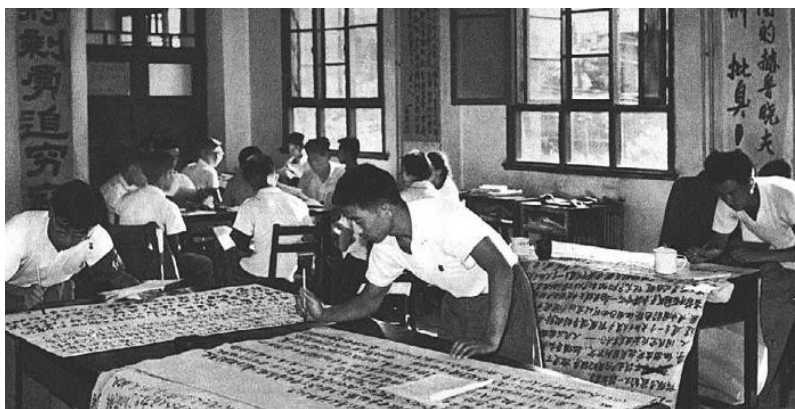
Инна (в центре) с сестрой Аллой и подругой Яной. 1962 г.



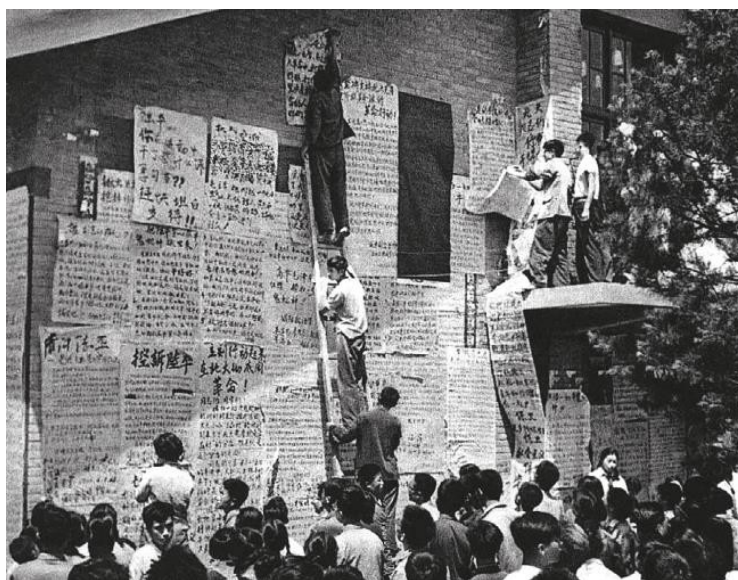
Вечеринка с кубинскими друзьями в доме Ли Лисаня. 1964 г.



Инна (в центре) с однокурсниками в Летнем дворце. Пекин, 1964 г.



“Культурная революция”. Студенты рисуют плакаты с лозунгами, осуждающими Лю Шаоци. 1966 г.



Плакаты на стенах Пекинского университета. 1966 г.



Жена Мао Цзэдуна Цзян Цин на митинге. 1966 г.



Ли Лисань, Алла, Инна, Елизавета Павловна.
Последнее общее семейное фото. 1966 г.



С отцом. На Инне хунвейбинская форма. Август 1966 г.



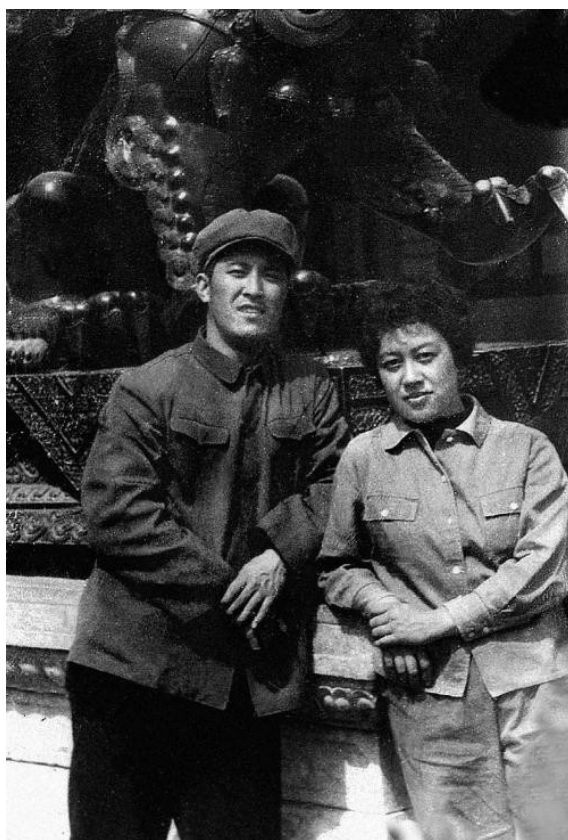
Инна (слева) с подругой Цао Линь и жительницей китайской деревни. Весна 1966 г.



Русские хунвейбинки. Инна (в центре) с Аллой и подругой Раей. Октябрь 1966 г.



Советский пограничник на берегу реки Уссури в районе острова Даманский. 1969 г. Фото В. Суходольского.



С будущим мужем Лю Хэцжуном. Весна 1972 г.



С первым сыном Павликом. 1974 г.



Встреча с мамой после долгой разлуки. 1976 г.



Дэн Сяопин жмет руку Инне Ли перед началом траурного митинга, посвященного реабилитации Ли Лисаня. 20 марта 1980 г.



Детская елка. Январь 1983 г.



Елизавета Павловна и Дима на даче. 1987 г.



Протесты на площади Тяньаньмэнь. Пекин, 1989 г. Фото А. Макарова.



Андрей Сахаров выступает на Первом съезде народных депутатов СССР. 1989 г. Фото О. Иванова.



Лепка пельменей. Москва, июль 1989 г.



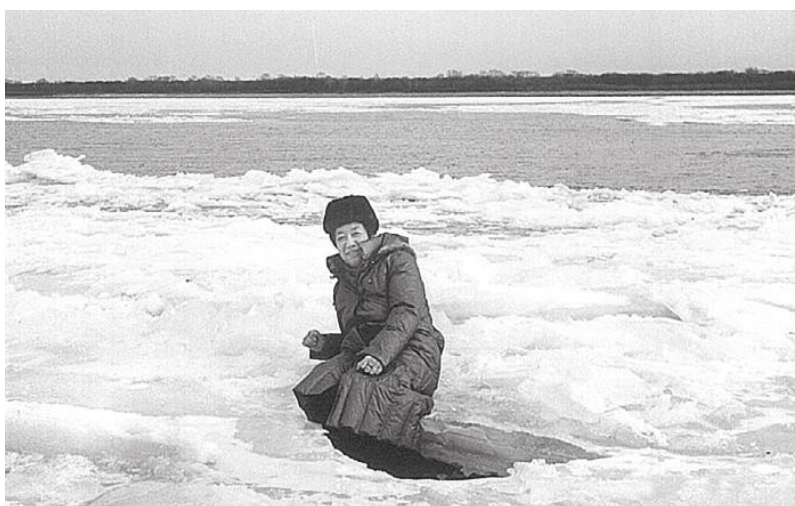
С подругами. Инна – вторая справа. Москва, 1990 г.



В Студёнке. Инна и Елизавета Павловна с земляками Барчуком и Гурием Ивановичем Макаркиным. 1993 г.



Инна с сыновьями Павлом и Дмитрием. Июнь 1994 г.



На льду Амура. 2001 г.



День рождения Елизаветы Павловны. 2005 г.



Регистрация брака со вторым мужем Владимиром Вениаминовичем Агеносовым. 2006 г.



На лекции по российскому китаеведению. 2011 г.



Открытие памятника Ли Лисаню и Ли Ша (Елизавете Павловне).
Шанхай, 2014 г.



Инна с семьей.



На новогоднем празднике китарусской общины Пекина.



Инна Ли. 2019 г. Фото С. Щедрина.